
НОВЫЕ РАССКАЗЫ

Александр Астраханцев
(г. Красноярск)



Астраханцев Александр Иванович, родился в 1938 г. в дер. Белоярка Мошковского района Новосибирской области. Закончил Новосибирский инженерно-строительный институт и Литературный институт им. Горького. Более 20 лет проработал на стройках г. Красноярска на должностях от мастера до заместителя начальника домостроительного комбината. Автор 7 книг прозы, вышедших в Москве и Красноярске. Очерки, рассказы, повести и романы публиковались в журналах «Наш современник», «Молодая гвардия», «Сибирские огни», «День и ночь», «Енисей». Отдельные рассказы выходили в сборниках «Лучший рассказ года» (Москва, Новосибирск и др.). Живет в г. Красноярске.

В ПОТОКЕ ДНЕЙ от *adagio* к *presto*

В автобусе на переднем сиденье — мама с малышкой на руках, трехлетней девочкой. Мама — флегматичная молодая женщина с миловидным, но статичным сонным лицом и гривой темных волос; малышка же — явно не в маму: хрупкая, с голубыми жилками сквозь полупрозрачную кожу на висках, со светлыми реденькими локонами, с большим, почти уродливым ртом, огромными серыми глазами, и — очень живая. Она смотрит в окно, тычет в стекло пальцем и без конца дергает мать: «Мама, мама, матина!», «Мама, мама, батени кан!» Мама, не глядя, равнодушно кивает головой: «Да, машина... Да, башенный кран».

Но вот рядом с ними села еще одна молодая мама с мальчиком лет четырех. У мамы мальчика — осмысленный, живой взгляд; мальчик — спокойный, воспитанный, с мамой разговаривает как равный; чувствуется, что они понимают друг друга с полуслова.

Девочка моментально преобразилась: отвернулась от окна и стала дружелюбно улыбаться мальчику, — но тот посмотрел на нее равнодушно и рассеянно — как на неразумного младенца.

Девочка стала то подмигивать ему, то прищуриваться, то широко распахивать

глазищи, всеми силами стараясь привлечь его внимание, безусловно зная о привлекательности своих глаз — сама ли догадалась об этом, или при ней о них говорили? Она использовала весь свой запас мимики, чтобы привлечь внимание мальчика... Интересно, у кого эта оболстительница переняла приемы? Явно не у мамы. Или родилась с ними? А мальчик, ничего в этом еще не понимая, решил, видно, что она — просто глупая кривляка, и отвернулся.

Девочка же, перестав кривляться, стала возбужденно лопотать что-то ритмичное, покачиваясь в такт — похоже, декламировала стихи, ни к кому не обращаясь и все же бросая время от времени в его сторону быстрые взгляды, явно проверяя впечатление. Но мальчик и тут — никакого внимания. Тогда она просто взяла и изо всех сил заверещала. Терпеливая мама не выдержала: встряхнула ее как следует и рывкнула: «А ну, хватит!» Но девочка даже не обратила на это внимания.

И, наконец, до мальчика дошло, что эти выступления посвящены ему — он повернулся и посмотрел на нее хоть и сдержанно, и снисходительно, и чуть-чуть свысока, но — приветливо, поощрив легкой улыбкой.

Что тут стало с девочкой! Она сползла с маминых широких колен, встала на сиденье, ерзая и оттесняя ее, держась за спинку кресла, и со сверкающими глазами, со счастливым лицом запела что-то и стала неистово прыгать. Мать прикрикнула на нее; девочка не слышала — она была упоена победой, она торжествовала, она исполняла некое подобие победного танца!

Но вот женщина с мальчиком встали и на очередной остановке вышли. Девочка была в отчаянии: она дергала маму, она трясла ее за плечи: «Пойдем, пойдем!» — и когда та объяснила, что еще не их остановка — у нее хлынули слезы: она разрыдалась. Это была истерика. Мама, наконец, разгневалась и отвесила ей шлепок; девочка продолжала реветь, рвалась из рук, колотила мать ручонками, возмущенно бормотала что-то, захлебывалась, пуская пузыри, и выглядела отнюдь не испуганной материнским гневом — а, скорее, разъяренной; и плакала, и капризничала она не от боли — от обиды, что ее не понимают.

Время было дневное, ехали в автобусе, главным образом, женщины с кошелками и старушки. Они смотрели и на девочку, и на мать с осуждением: вот, дескать, распустила ребенка... Занятые своими заботами, невнимательные, они, как, впрочем, и мамаша, совершенно не поняли, что на их глазах протекала захватывающая человеческая драма с вечным сюжетом: Она и Он, Он и Она.

А передо мной долго еще стояли глаза девочки, словно два наполненных до краев стакана, готовых пролиться, и я гадал: что же с ней станет, когда вырастет? Затюкают ли ее, сломают, сумеют впрячь в лямку будней — или, чтобы сохранить свое «я», ей придется все время рвать путы, ломать преграды, и она станет необузданной и будет постоянно врваться в чужие судьбы, ломать их и корезить? А может, станет нежно любящей женой и хорошей матерью со всеохватным чувством материнской любви? Или — хищной блудницей? Или мощное и страстное ее, ничем пока не замутированное, не испачканное, незащитное, искрящееся драгоценным камешком либидо перельется в творчество, и ей предстоит многое свершить?

Нет, думал я, слава Богу, что, вопреки прогнозам пессимистов и скептиков, человеческой жизни на земле пока что не грозит иссякнуть, по крайней мере, в ближайшие тысячи лет — здоровые, мощные инстинкты все-таки подскажут ей выходы из всех тупиков и вывезут.

На душе было немного тревожно, но — хорошо.

* * *

Рано утром — еще чуть брезжил серый свет — я ехал в аэропорт: сидел на заднем сиденье такси, завалившись в уголок, и подремывал.

Посреди совершенно пустой улицы на обочине стояли двое: мужчина и женщина; женщина отчаянно махала рукой — «голосовала». Шофер собрался, было, проскочить мимо, но женщина кинулась в отчаянии ему наперерез, и если бы шофер мгновенно не затормозил — ей-богу, не миновать несчастья.

Он скрипнул зубами и выругался. А женщина, как ни в чем не бывало, подлетела к машине, распахнула переднюю дверцу и, стараясь расположить шофера виноватой, заискивающей улыбкой, успев при этом еще и мельком глянуть на меня, стала торопливо говорить:

— Извините, ради Бога! Вы в аэропорт?

Именно эта улица шла в направлении к аэропорту.

— В аэропорт,— играя желваками и не поворачивая головы, угрюмо ответил шофер.— Вам что, жить надоело? Но меня зачем в это впутывать?

— Простите, я вас умоляю — мы ужасно торопимся, мы опаздываем! Возьмите нас! — просила женщина, прижав к груди руки.

— Спрашивайте у пассажира! Машину заказывал он,— сухо сказал шофер, продолжая смотреть прямо перед собой.

Я не стал возражать.

Женщина моментально повеселела, скомандовала топтавшемуся позади нее мужчине: «Вася, садись!» — и, шурша плащиком, впорхнула на переднее сиденье. Спутник ее забрался на заднее, рядом со мной, и как-то сразу заполнил собой все пространство, так что мне стало даже немного тесно. Пока он устраивался, пружины под ним жалобно скрипели и попискивали. Грузный мужчина.

Поехали дальше.

А новые пассажиры тотчас забыли о нас с шофером, окунаясь в свою ауру; оба, похоже, не спали всю ночь: на их утомленных лицах лежали тяжелые тени, а глаза в красноватых веках возбужденно блестели.

Женщина повернулась и через спинку кресла протянула мужчине открытые ладони; он протянул ей свою лапу; она взяла ее, быстро приложила к ней губами, затем положила ее на спинку кресла и придавила подбородком, со счастливой улыбкой глядя на мужчину. Блуждая глазами по его лицу, она ласкала его взглядом, она поела его, она им лакомялась.

Лицо у мужчины было простое и грубое. Но что-то же она в нем нашла? Обоим было где-то между тридцатью и сорока.

— М-м-м? — вопросительно хмыкнула она, кивнув ему и шире распахнув улыбающиеся глаза, спрашивая взглядом о чем-то, понятном только им.

— М-м-м,— утвердительно кивая и тоже улыбаясь в ответ, пророкотал мужчина грудным, урчащим баском.

— М-м-м! — женщина строго погрозила ему пальцем.

— М-м-м,— продолжал улыбаться в ответ мужчина, отрицательно помотав головой. Затем, не в силах, видимо, удержаться от нахлынувшего чувства, потянулся и, скрипя пружинами, свободной рукой заграбастал женщину за шею. Однако женщина вывернулась из его неловкого объятия и прикрикнула:

— Ну-ка, сиди спокойно! — а затем укорила: — Тут же люди, Вася! — причем в укор ее было столько горячей нежности, словно она давала понять, что если б не «люди», уж она бы ему дала волю — или бы сама тотчас перебралась к нему на колени, в его тяжелые руки. И уже с восхищением, даже не проговорила, а пропела, качая головой: — Ну, медве-едь! Ну и медве-едь!

— А Люська меня вчера тоже медведем обозвала,— прогудел мужчина.

— Так ты и есть медведь! — и прыснула: — Хи-хи-хи.

Мужчина помолчал и вдруг ни с того ни с сего мечтательно заявил:

— Приеду — в баньку схожу. В баньку охота.

С лица женщины сошла блаженная улыбка, глаза ее затуманились — казалось, она возвратилась с небес на землю.

— Смотри, к Алке не ходи! — озабоченно сказала она.— Она только и мечтает, чтоб напоить тебя и в постель затащить!

— Та-ань! — мягко упрекнул ее мужчина, сам взяв теперь ее руки в свои.— Не надо мне Алки — мне с тобой хорошо.

В глазах ее, глядящих на него, боролись теперь радость и страдание — она прощалась с ним, она смотрела на него уже издалека-издалека.

И вдруг запела.

Пела она, помнится, простую и старую-престарую песню: «В далекий край товарищ улетает, родные ветры вслед за ним летят...»,— и пела тихо-тихо, одному ему, однако при этом — вдохновенно и выразительно, очень точно выводя мелодию, глядя на него все так же затуманенно и печально.

Мужчина послушал-послушал, поерзал немного и тоже запел, подтягивая женщине, и у него это получалось тоже совсем неплохо: тихий густой бас его ненавязчиво вплетался, подобно органным аккордам, в голос женщины, обрамляя его, контрастируя с ним и делая объемным. Чувствовалось, что они не впервые поют вместе — так слаженно, так дружно, так хорошо они пели.

Машина, вырвавшись из города, мчалась по шоссе, с гулом взрезывая тугой стоячий воздух, а мужчина с женщиной пели и пели, забыв про все на свете; оказывается, простую и старую-престарую песню можно петь так, словно она — вдохновенный гимн любви.

* * *

Входишь в пустую квартиру, только что оставленную жильцами; от них остались лишь эхо в гулких комнатах да мусор и обрывки бумаг на полу. Что это были за люди, чья жизнь протекала здесь?

Каждый человек — если и не горячая звезда с косматой короной, с брызжущими протуберанцами лучистой энергии, то уж, во всяком случае, неизвестная, никем до конца не пройденная и не разгаданная планета со своими материками, морями и океанами, с лужайками и ручейками, с горными вершинами и дремучими лесами, кишацими зверьем. Планеты, проходящие мимо и исчезающие из вида. Иногда единственными тоненькими тропинками в их судьбы остаются письма, брошенные на полу в пустых квартирах. Единственные интимные свидетельства, остающиеся после них.

Бывает интересно заглянуть в эти анонимные для меня письма. И не стыдно — такая профессия: разгадывать, открывать и прослеживать судьбы.

В моих архивах лежит несколько таких случайных писем. Вот одно из них, без начала:

«... хоть бы письмо нам с Игорем написал когда, и то будем рады. Ты ведь знаешь, Петечка, как меня тянет к тебе. Была бы одна, села б да поехала, не глядя куда — хоть бы посмотреть на тебя, и то бы легче. Ты мне те разы говорил, что не можешь без меня, что, мол, тянет тебя ко мне, мол, будто присушила или приворожила чем. Я тебе верила и себя не жалела для тебя, миленький мой, а сейчас тянет меня, ну вот тянет меня всю, не могу без тебя, и не могу ничего с собой поделывать, и никого мне не надо, одного тебя, а ты вот взял и уехал. Ну *приедь*, хоть на Новый год, хоть к маме своей поедешь когда, так заскочи. Ничего мне от тебя не надо, ни денег, ни подарков никаких, лишь бы увидеть твоё лицо, голос твой услышать. Если не *приедь*, то я после Нового года *приеду* сама, хоть на день, посмотреть на тебя, слово от тебя услышать ласковое. Не гони меня тогда, ладно, Петь?

А, может, ты уже там женился? Тяжело мне будет это знать, лучше и не знать во-

все. Но я выдержу, ничего твоей жене не сделаю, ты меня не бойся, живи, будь счастливый, если на то пошло, но Игоря и меня иногда вспоминай и хоть пару слов, но черкни когда, если больше ничего не можешь.

Галька, сестра твоя, говорит, что живешь ты там как попало, неухоженный, и пить будто начал. Зачем же так, Петечка? Ты ведь хороший и не пил же, с нами живя. Меня слушал, а я ведь добра тебе хотела. А тебе казалось, что давлю на тебя, твое мужское самолюбие унижаю. А женщина — она знает, что надо, и если уж любит, то все делает, как тебе лучше.

Ты вот меня укорял, а я тебе сто первый раз скажу: не виновата я! Пусть я была не твоя сначала, что ж тут такого? Нынче многие так: сначала семейная жизнь не складывается, расходятся, а потом встречаются суженых и живут, и еще как живут! Так и мы с тобой, встретились, и как еще жили, не псу под хвост! И не надо мне, что не расписанные были, хоть мать меня и поедом ела. Но ты уходил неизвестно куда и снова приходил, а потом меня же упреками мучил, что не знаешь, мол: может, я с десятью была. Неужели ж я такая? Кто-то тебе, может, и сбрыхнет про меня что худое, так ты не верь, Петечка, разве мало злых людей да врагов у одинокой-то? Многие тут подкатывались уже после тебя, уговаривали: мол, кому это надо, одной куковать? А никому, одной мне. Конечно, я веселая в обществе — что попеть, что потанцевать, а никто не знает, как мучусь, и никто не скажет, что я на кого-то свое горе вешаю. А что за Колькой замужем была до тебя, так это же смех, а не замужество — в восемнадцать-то лет жених с невестой! Короче, попались мы в первый же раз, глупые. Я тебе, между прочим, все это как на духу рассказывала, ни капельки не скрыла. Игрой у нас с Колькой все было, а игра вон куда завела. Родителям-то что — им бы только детей с рук, а нам — жить. Потом он — в армию, а я родила. Он из армии вернулся, какой был, а я уже взрослая стала, два-то года намучившись с Игорешкой на руках. А теперь вроде как с двумя возись. Он же и недоволен стал, будто я ему жизнь сломала. Он, видите ли, еще света не видел, не со всеми перегулял. Учти, Петенька, сама его погнала в шею, раз не понимаем друг друга, и, считаю, правильно сделала. Не мужик еще. И Игорешки ему не надо.

Учти, Петечка, я ни с кем не гуляла после, хотя многие добивались. А ты сам сколько ко мне подкатывался да подмазывался, вспомни-ка! И какие слова говорил, и ласковый какой был — я же все-все до словечка помню и каждый денек с тобой пересказать могу. А когда ты мне нужен стал — то вроде как испугался: слишком много тебе моей любви, слишком горячая она. Конечно, я не очень-то красивая, и фигура у меня средняя, но у каждого свой талант. И тебе меня досыта хватало. А я вот полюбила тебя крепко, и сама не ожидала от себя такого, а тебе боязно стало, что сгоришь в моей любви, что раз я такая — значит, порченная, с любым, значит, пойду, что зятю тебя как в омут. Не бойся меня, миленький, ты же знаешь, я ведь всякой умею быть, и всех женщин тебе заменю, а самой мне ну вот ничегошеньки не надо — лишь бы ты сам был! Вот приехал бы — я бы тебя всего-всего, до пальчиков ног исцеловала бы, как деток малых целуют, всю бы себя отдала — пей на здоровье! И баловала бы тебя — только бы и света у меня в окне, что ты да Игорешка.

А если не хочешь, Петечка, не надо, насильно мил не будешь, и сами проживем. Но хоть письмо бы мог написать, не трудно же?

И еще к тебе просьба: пришли фотку. Ту, что у меня была, твоя же сестра Галька стырила. Была бы хоть какая — я бы глядела, и то легче.

Почему ты не пишешь? Обещал ведь — а как сделал? Бросил слово на ветер. А я тебе все равно писать буду, если даже тебя там уже нет. Верю, дойдет.

И еще раз прошу: ну приедь хоть на денек, хоть на часочек — поглядеть на тебя, рукой дотронуться. И фотку все-таки пришли — все легче жить будет.

Креко-крепко целую тебя всего, всего, всего.

Твоя навечно Катюха».

* * *

Целое лето, долго и мучительно я расхоронился с женой. А тут еще позвонили: умер товарищ. Надо идти хоронить.

Я давно его не видел и не мог представить себе мертвым — все во мне протестовало против его смерти, и идти не хотелось. Вот не несли туда ноги. Но идти надо — велят долг и обычай.

Пошел. А августовский солнечный день, сухой и теплый, и знать не знает о чьей-то смерти.

Уже почти дошел до места: вон его дом, вон окна. Даже страшно представить там сейчас смерть и тлен. И так тяжело на душе, так тоскливо, так трудно сделать последние сто шагов.

Сел на скамью среди жухлой травы и чахлах кустов посреди просторного двора — собраться с силами для встречи со смертью, которая, начиная с сорока, бьет и бьет, как артобстрел, по сверстникам, выкашивая по одному. Она ведь бьет и по мне. Однажды на рассвете и ко мне придут и прочтут приговор. И ни снисхождения не будет, ни отсрочки. И станешь считать минуты и часы, и торопиться надышаться и наглядеться на этот милый сердцу свет.

И вдруг прямо передо мной — все произошло в течение секунд — воробей сбил в воздухе крупного летящего жука, свалился вместе с ним на землю и стал остервенело в пылу охотничьего азарта расклеивать его, еще живого, судорожно скребущего жесткими лапками воздух.

В это время откуда-то из-за чахлах кустов выскочил большой и рыжий, как молния, кот и прыгнул на воробья. Воробей взлетел, бросив жука уже в воздухе, но кот в отчаянном прыжке, растопырив лапы и вертя хвостом, как пропеллером, взвился вслед за воробьем на целый метр, последним отчаянным усилием протянул лапу, зацепил его когтями, запихнул в рот, приземлился и двумя прыжками удрал в кусты.

Я даже не успел открыть рта, чтобы шугануть наглеца, и только потом, когда он уже исчез, удивился, как неожиданно, жестко и неприкрыто приходит в природе смерть.

Неожиданно моему телу стало нестерпимо больно, будто это меня терзал воробей, и меня нес в зубах кот. Но одновременно — какая-то странная легкость и покой. Господи, да ведь все мы непреложно смертны; все — такая маленькая и трепетная частичка природы! Ты родился, процвел и умер — и уже величайшее счастье, что ты «проявился», «сподобился», был «включен» и «отмечен».

Ведь я это знал еще семилетним деревенским мальчишкой, потому что все наглядно и ежедневно проходило перед глазами: соития, рождения, смерти, да вот подзабылось здесь, в городе, где люди становятся по отношению к природе наивно самонадеянны и в то же самое время, трусливо страшась смерти, бьются над разгадкой тайн бессмертия. Одни, чтобы подойти к проблеме фундаментально, громоздят между собой и ею целые отрасли знаний: онтологию, танатологию, эсхатологию; другие ищут отгадки в религии, мистике, оккультных науках, готовые за глоток бессмертия продать душу кому угодно — да только кому их души нужны? Третьи решают вопрос практически: бегают трусцой, стоят на голове, изобретают специальные снадобья и диеты и опять же создают целое созвездие наук: геронтологию, диетологию и проч. И все-таки никто ни на шаг не приблизился к разгадке бессмертия, все равно каждому суждено шагнуть в смерть.

Жизнь оплетена трагизмом, как багрово-черной траурной каймой, и только когда осознаешь это, когда видишь, как смерть терзает близких, и чувствуешь ее легкое ледяное дыхание в ухо — именно тогда по-настоящему оцениваешь жизнь и тепло родных тебе существ.

Мне хочется тогда думать не о Боге, не о душе и бессмертии, а о родных существах, о том, что мы, люди, вместе с нашей гордыней и нашими страхами — всего лишь малая часть большого и общего. Что все мы на земле, от одноклеточной водоросли до человека — от одного корня на одном дереве жизни; у всех — двойная спираль ДНК, закрученная по одному принципу и из одного материала, все выросли из одной клетки на одной кочке посреди океана воды и воздуха и потому должны чувствовать родственную связь со всем и боль каждого живого существа, каждого растения, и все — безмерно любить и беречь это наше большое и общее, из чего проросли и куда уйдем: все мы так похожи на цветы в поле, растущие из собственного перегноя — только цветы, бегущие по полю на тоненьких шатких ножках, беспечно поднимая глаза к солнцу...

Вот о чем думалось мне на той скамье посреди двора. Я встал и уже спокойно пошел через двор в дом напротив, на очередную встречу со смертью.

КОЕ-КАКИЕ МЫСЛИ О ПРИРОДЕ И ВООБЩЕ

Уважаемая редакция!

Пишет вам неизвестный читатель из Сибири, с далекой таежной реки Тянигус. Эту речку вы не найдете на карте: длиной она всего около ста км от истока до устья, шириной, как говорится, в два куриных шага, и ни единого населенного пункта на ней нет, так что более точных координат о себе сообщить не могу. Да они к делу и не относятся, потому что я хочу всего лишь высказать несколько мыслей по поводу дискуссии на страницах вашей газеты. А сам я для вас интереса не представляю — человек не передовой, и даже наоборот: в данный момент не в ладах с милицией, поэтому предпочитаю держаться в тени.

Ну, чтобы не быть совсем уж безымянным, зовут меня, предположим, Константин Пряхин. А, может, и еще как — неважно. Мне полных двадцать семь лет, из них восемь учился в школе, еще два года в техникуме (не доучился), два года — в армии, и три года сидел (надеюсь, понятно, где). Ну, работал еще в разных местах с перерывами. После отсидки попал, как говорится, в дурную компанию, с которой связался еще «там». Попытка честно трудиться, не получилось. И вот один неосторожный шаг, и ты зарабатываешь еще восемь-десять лет. Дело путаное, так что ворошить его тут не будем. Скажу только, что в компании меня самого подколодь собирались, да вышло не по-ихнему. Но сидеть придется как миленькому — ранее судим. Короче, родственники погибшего подали в суд, а я не выдержал — дал тягу. Так что, с одной стороны, меня ищут менты, с другой — родственники погибшего, с третьей — прошлые дружки, и поди, докажи им всем, что не верблюд.

Пишу вам не потому, что каюсь или жалуюсь на судьбу, или боюсь возмездия. Может, и каюсь, и кляню свою нестойкость характера, но до этого вам дела нет — пишу все это, только чтобы объяснить, почему сюда попал. Места здесь глухие: как говорится, тайга — прокурор, медведь — хозяин, милиция свой нос не сует, и самое большое начальство — действительно Михал Потапыч: он тут, за сопкой, живет, и мужик, в общем-то, спокойный, только страсть как любит муравьев зорить и жрать их яйца, а когда они облепят ему морду — ревет на всю тайгу. Но мы друг другу не мешаем, правим сообща; стало быть, Тянигус — уже вроде как не монархия, а республика. Шучу.

А теперь хочу высказать свои мысли. Я имею склонность их развивать — это заметила еще моя школьная учительница литературы по прозвищу Дрататья. Если вам понравится — могу расширить контакты, т.е. писать еще, потому что мне здесь приходят мысли, и я рад поделиться. Знак, что вам понравилось, будет, если вы их напе-

чатаете. Ну не обязательно все, а хотя бы некоторые. Мне газеты приносят, и вашу тоже, и я их читаю. Живу, как фраер, в общем.

Вот мой автопортрет: оброс бородой, смахиваю на геолога. Или на интеллигента. Большой крест на груди ношу. Для понту.

Вы спросите: а как и чем я живу в тайге? А вот как. Тут через каждые тридцать-сорок км охотничьи избушки. Если, скажем, один охотник умирает, другому настоящему охотнику запахло занять ее: свою строит. Вот и живу в одной такой. Печка есть, полати, пол. И банька по-черному рядом, у ручья. Культура, одним словом!

Теперь о прочей жизни. Думаете, если в тайге нет населенных пунктов, она, значит, безлюдная? Фуиньки! Только живя здесь, можно понять, какой настырный этот русский человек — от него никуда не спрячешься: прет и прет через этот дуролом. В тайге, в дуроломе этом, попробуй только, оступись: нога — хрясь, и хана, зверюги растащат по жилке, по косточке. Погибнуть — ни за понюх, а он, этот человек, лезет и лезет из любопытства в самую-то глухомань, и чем глуше, тем ему кайфа больше. И по одному ходят. Теперь я понимаю, как была Сибирь освоена, как наши до самой Америки дотопали. Вы, конечно, скажете, что это сброд, бичи по-нынешнему. Да, бичи. Но, сидя в кабинете, ничего не откроешь.

В общем, первым у меня нарисовался Кашей. Это я его так назвал. Смотрю как-то, шлепает мужичонка; за спиной алюминиевый короб литров на шестьдесят. Я ему: «Давай, земля, к моему шалашу. А выпить найдется, так дорогим гостем будешь. Как там власть? Стоит?» — «А кто она тебе? — спрашивает, хитрюга. — Сестра, ай теща?» Подошел, разболочка, стер пот со лба. А ни ружья, ни даже порядочного ножа с собой: прямо как у себя дома — любой из наших сейчас бы начал над ним свою власть качать. Харчишки раскладывает; достает, в самом деле, бутылку, меня приглашает.

А у меня как раз тоскливо было с харчем: хлеб да черемша, — но чайник с теплым пойлом всегда на таганке стоит. Выпили с ним, разговорились. Он ягоду берет и возит продавать в город. Спрашиваю: а стоит ли овчинка выделки? Ближняя остановка поезда — сорок км, да и то если прямо через перевал. Стоит, говорит, и — точную арифметику мне: возле дороги ведро в день наширкаешь — хорошо; короб наполнить — неделю надо. А ежели нетронутая она — шесть ведер в день напластать — и делать нечего, плюс два дня — дорога туда-обратно. Четыре дня выгадываешь. Вот и ищет нетронутые места.

Я и подумал: мне такая компания кстати. Говорю: давай, буду собирать, а ты таскай и продавай в городе; навар — пополам; приноси мне продукты, курицу, водяру, газеты и журналы; для этого ты, мол, должен принести полиэтиленовые мешки — ягоду в ручье хранить. Предупредил только, чтобы зубы на замок и хитрить со мной не пытался. Кое-чем припугнул, кое на что намекнул. И пошло дело; кооператив заработал.

Потом еще двоих принял. Первый из них — Вовка. Я его Смоктуном окрестил: он, когда жрет, смокчет, чавкает, значит, а я нервный, терпеть этого не могу, и чтоб постоянно не поминать: «Не смокчи!» — вот тебе кликуха: «Смоктун», — и носи на здоровье. А как появился-то: лежу вечером у костра, азобышек потягиваю, кайф ловлю перед сном, слышу треск в кустах. Неуж Хозяин, соседкушко? — думаю. И встретить нечем. Головню в руку взял, жду. Смотрю: вроде, человек из кустов выломился, подходит осторожно. «Можно, — спрашивает, — ночь у костра покемарить?» — «Разрешаю, — говорю. — Покемарь». Он молчком присел, разулся, прилаживает носки сушить. Приглядываюсь: вроде, пацан еще, и совсем не таежник: штанишки хэбэ, пиджачок, на ногах плетенки, с собой — ничего, как будто он мне в городском парке встретился. Только мокрый по самое не могу. Но черт его знает, чего ему тут надо? Поди, набедокурил дома да сбежал подальше от отцова ремня? По фене ботает, но не

натурально — кино мне тут гонит. Посидел, вынул из кармана сухарь, почавкал, сходил к ручью, напился. Начинаю прошупывать — от прямого разговора уходит: «Да тэ-эк...», «Да ничего...» Ну, думаю, ладно, молчи. Пошел в избу спать, его не зову — на кой он мне: есть и такие, что за краюху хлеба замочит. Оставил дверь открытой, лег, сплю вполглаза. Пацан раскочегарил костер, лег возле него, ворочается... Вышел на зорьке, смотрю: ужаслся весь, как собачонка, лежит калачиком прямо на земле у потухшего костра — даже жалко его стало, ей-богу.

Я чай заварил, сел завтракать, его не зову. Тот проснулся, сидит. Сухарей, видать, больше нет, и зубами от холода клацает. Потом встал. «Ну, я пошел», — говорит. Я ему тогда: «Нет, стой! Что-то мне твоя ряха не нравится. Может, сейчас пойдешь и заложешь? А я не хочу, чтоб меня закладывали. Знаешь, что с такими делают?»... Сопит молча.

«Сядь!» — говорю и показываю глазами на чурбак рядом. Помялся, сел. Спрашиваю — отвечает, а самого аж корежит — не любит, видать, когда ему рака за камень запускают. А мне чихать: любит — не любит? — мне знать надо, с кем дело имею... «Так что привыкай, — говорю, — придется тебе, при твоей-то жизни, к нашему брату притыкаться. А наш брат такого фраерства не то что не любит — оно ему, как все равно красная тряпка быку: дразнит». А история у него, оказывается, простая, как одиножды один: их, гавриков, у матери трое, сама — проводница на поезде, то на работе, то в загуле, отец по тюрьмам затерялся. Так мой гостенек, оказывается, зимой на буровых кантуется, а летом бродяжит. Сейчас идет смотреть, какой нынче кедровый орех уродился — хочет с кем-то шишковать по осени. «Ладно, — говорю, — садись завтракать, потрекаем». Предложил жить у меня, сказал условия. Он согласился; только, говорит, можно кореша приведу? Ух, ты, думаю — ловок! Потом понял: один он меня боится. «Какой такой кореш?» — спрашиваю. «Да-а, — отвечает, — тут один ошивается возле железной дороги. Москвич». — «Ну, — говорю, — веди, посмотрим, что за москвич». Ушел, через два дня вернулся, привел. Посмотрел я: точно, москвич — он москвич и есть, я их за километр чую: ученый, видать, да недоученный маленько; там их миллион, таких, по вокзалам кантуется. Лысый, облезлый, сюсюкает по-московскому, болтает много без толку: все-то он знает, про все слышал, — и весь пришибленный какой-то, а водку пьет — так аж дрожит. Спрашиваю его: «Ну, и как сибирская тайга?» — «Да ну ее, — говорит, и дальше — складно, но матерно. — Только, — говорит, — водочкой и спасаюсь: засадишь — страху нет, ляжешь под пенек и спишь, как ангел».

Угостил обоих как следует — у меня уже снабжение налажено: Кашей бесперебойно работает. «Но, — говорю, — туенядцами у меня не будете!» И начали жить, как в сказке: Смоктун с Москвичом ягоду рвут, Кашей только успевают таскать коробами в город. Иногда Москвич или Смоктун по очереди с ним ездят. Когда разрешу. Проветриться.

Сначала красная смородина шла, потом жимолость, сейчас черника идет, потом малина будет, потом черная смородина, потом брусника, потом орех... Ягоды — завались, организация у меня четкая: день работаем, два гужуемся, отдыхаем: ждем Кашея. Подозреваю в себе крупные организаторские способности.

Не без ЧП, конечно. Как-то поехал Москвич с Кашеем в город, деньги у Кашея выманил и пропил, а сказал, что потерял. Пришлось учить уму-разуму — три дня потом кровью сморкался. А как иначе?

А то Смоктун намерился смыться. Москвич же его и продал — испугался один на один со мной остаться. А мы договорились до белых мух жить обща, потом разбежаться. Тоже поучить пришлось.

А то еще Москвичу со Смоктуном показалось, что я их сильно эксплуатирую — настоящее восстание подняли, р-революционеры. Сидим это однажды, ужинаем, бутылочку прикончили, все так хорошо, мирно, и на тебе: вдруг, слово за слово — сце-

пились: как поперли они на меня! Я, соответственно — на них. Они — за ножи, я — за топор. Смоктун изловчился, достал меня дрынком по голове, я упал, они навалились, ногами побуцкали, связали. Наутро протрезвели — давай извиняться и по новой договариваться. Договорились, развязали, выпили мировую.

Сейчас дожди наладились. Балдеть обрыдло, уже опухли все. Смоктун с Москвичом в очко режутся, а я вот почитал вашу газету и письмо вам решил замастырить: возмутило меня некоторое, и вот какие мысли хочу высказать.

Мы, конечно, с вашей точки зрения, нетрудовой элемент, паразиты. Паразиты, мол, и спекулянты. А я считаю, что наш труд вполне эквивалентен деньгам, которые вы платите за наш товар, как говорится на языке политэкономии — тоже изучали кое-что в свое время. Вы на базаре, когда покупаете у Кашея ягоды, всяко его обзовете: шкуркой, куркулем, жмотом. Но к вам же никто в карман не лезет — возьмите да соберите сами! Нет, вы толстые, вы боитесь свои мягкие жопы растрясти, а ягодку таежную любите. Поэтому сколько мы с вас запросим, столько и дадите. Вполне можно спекулировать на вашей слабости и сделаться миллионерами, была бы охота. Расчистить маленько тропу, пригнать мотоцикл, и — вози ягоду тоннами: ее тут, я прикинул, три четверти пропадает. Орехи — те на пятьдесят процентов, остальное белкам да кедровкам остается. Грибы — на все сто, никто их тут не берет, идешь и пинаешь, как футбол, а потом и пинать надоедает. Интересно, почему у вас грибы на базаре? Надо, чтобы Кашей узнал. Тоже, поди, денег стоят? А скорей всего их там у вас совсем нет, дефицит.

В общем, можно запросто заработать на вас миллионы — я тут прикинул, и мы поспорию на этот счет. Но все сказали, что скучно это: копить миллион. А я так даже не знаю, что с этим миллионом делать, кроме как пожрать, выпить и одеться поприличней. Напишите в вашей газете: как его можно употребить с толком? Или вам слабо написать про это — пусть лучше сгниет все? По-вашему, знаю, хорошо бы создать здесь какой-нибудь «Тянигус-трест» по добыче даров природы. А если трест, то обязательно пришлете директором туза-ворюгу на «Волжанке», а у него — пять человек замов, секретарши, кадровики, а потом на карте нашей Родины появится новый поселок в пять тысяч жителей, какой-нибудь Светлогорск, а ни природы, ни даров уже не будет, все выкорчуют, вытопчут и разворуют.

Кстати, про природу, про экологию вашу тоже — трубите, трубите в каждой газете: кто-то вам воздух портит, воду, землю. Прямо даже смешно читать. Кто тебе портит-то? Я к тебе обращаюсь, к тому, кто эти статейки пишет да во всяких комиссиях заседает! Ты же сам себе все портишь! Ты на чем на работу ездишь? На машине? Или хотя бы в автобусе? А ты каждый день на работу пешком ходи, вот и будет воздух чище. Ты ведь, наверное, толстый, жрешь много? А ты жри поменьше — знаешь, сколько земли чистой сохранишь? И в тепле-то ты любишь жить, и при электричестве, да каждый день под горячим душем или в ванне мыться, и чтобы квартира твоя вся мебелью была заставлена. А откуда все берется? Папа Карло на бумаге, что ли, рисует? Ты хочешь, чтоб на всем этом твой сосед экономил, а сам бы ты жрал и тратил все это от пуза? Дураков ищешь? Не найдешь — все нынче если и не умные, так хитрые. Вот и дыши собственной вонью, и пей собственные помои — на кого обижаться-то?

Или вот еще. Так много сердобольных стало! Чуть не в каждой газете: одному какие-то лесные орхидеи жалко — мало осталось, другому жалко бездомных котиков, третьему — лебедей: читал, как целым городом однажды пару лебедей спасали. Интересно! А как насчет того, чтобы человека пожалеть? Того самого, которого давят, калечат каждый день на улицах, на заводах, на стройках? Понятно, что ни Смоктуна, ни Москвича вам не жалко. Хотя почему бы не пожалеть? Недоделанные они и тоже судьбой обиженные. Но вот написал бы кто-нибудь из вас хотя бы маленькую статье-

ечку: как, мол, мне жалко простого стропаля Ивана Ивановича Иванова, которого придавило вчера плитой на стройке! Или даже про неизвестного прохожего, которого на улице машиной сбilo. Не напишете ведь, слабо вам написать — никому не интересно! Ну, хорошо, неинтересно. Тогда хоть отведите в газете маленький уголок и сообщайте каждый день, кого угробили вы за день. Но каждого помяните, и я поверю в вашу жалость! А пока нет, не верю: играете в свои игры. Только кому мозги пудрите? Мне? Или себе?

Знаю, ткнете в меня самого: чья бы, мол, корова мычала — сам человека убил! Ну, предположим. Но меня-то закон преследует, найдет — не помилует; да я сам себя казню, я в бегах, я прячусь, как лесной зверь, от погони. А у вас ваши начальники, которые одним движением руки убивают, калечат, душат людей отравой — они же сидят себе в креслах, а вокруг них — шума-то, разговоров! А пусть бы побегал, как я, от закона. Эх вы, балаболки!

Вот он, ваш город и ваши правила жизни. Я понял кое-что, живя здесь. Может, и пишу затем, чтоб вас подразнить, в кошки-мышки сыграть: ау, поищите меня! Самому-то идти навстречу своей судьбе неохота. Хоть и чуется сердце, что скоро мне крышка. Мало чего я получил от жизни, но ни за какие деньги не нужны мне ваши блага, чихал я на них, потому что город — это когда много людей, а жить, когда вас много, вы не умеете. Там, где много людей — всегда кто-то впереди, а кто-то сзади. Ну, состояние того, кто впереди, понять легко. Можно понять и того, кто посередине. А как — того, кто сзади? У кого не хватило чего-то, чтобы быть хотя бы посередине? Да еще если он понимает, что ему чего-то недодано? Вроде бы и от голода не страдает, и выпить найдется, но, думаете, уже облагодетельствовали его этим? Он же страдает. Он все равно страдает, запомните это! Ему не нужны ни ваши доказательства, что все равны, ни ваш дешевый хлеб, чтобы не подохнуть с голоду — он презирает вашу жалость и ваше равнодушие, и ваше презрение тоже. Ваши города заставляют жить по вашим законам, стремиться куда-то, а когда все стремятся в одном направлении, тут-то и оказывается, что все устроены по-разному, что не могут все одинаково. А если я не хочу никуда стремиться? Если я не хочу со всеми одинаково?

Вот здесь, в тайге, стремиться некуда — везде кругом она, матушка. Здесь нервы успокаиваются, здесь не чувствуешь себя сивкой, бичом или уголовником — здесь просто начинаешь чувствовать себя собой.

В общем, природа — это лучше всякого курорта. Слабо вам придумать что-нибудь взамен ее. Слабо взамен — и города, и всякие занюханые ваши чудеса и радости, и ваши удовольствия! Эх, если бы навсегда остаться в лесу! Но не можем уже навсегда, ни я, ни Смоктун, ни Москвич — порченые уже, вечные квартиранты на этом свете. Тыкаемся, как слепые щенки в сучье вымя, а оно — пустое, оно не для нас: чужие мы на земле, брошенные, не свое место заняли. Вот так-то!

Это моя последняя мысль на сегодня. Хватит, день кончается, темнеет. Другие мысли сообщу в следующем письме. Понятно, что мысли мои вы не напечатаете — скажете: бред сивого мерина. Вы грамотные и толстые и, конечно, думаете поэтому, что самые умные, что по-другому уже и думать нельзя. Но я-то тоже кое-что понял. Например, что человек хитер, но природа умнее человека. Только она слаба. Так жизнь устроена — есть тут какой-то тайный закон: умному сила не дается. И вы, дураки, задавите ее. Навалитесь разом и задавите своей дурной силой. А я хочу открыть вам глаза.

*С пламенным приветом — житель великой сибирской реки
Тянигус Константин Пряхин, в народе — Талда.*



Анна Лео*
(г. Москва)

РЕВОЛЮЦИОНЕР



Степана Апонте Мария Иволгина увидела впервые, когда училась на третьем курсе педагогического института. В педагогику шли ребята, не прошедшие по конкурсу в другие вузы и желавшие избежать почетной службы в родной армии. Многие это понимали, и никто никого не осуждал, а вот Апонте выбрал профессию педагога осознанно.

Об этом узнала подруга Марии, Света Иванова, всегда всем и всеми «живо» интересовавшаяся. Она-то и поведала, что молодой человек уже отслужил в армии, а фамилия у него такая от отца — то ли испанца, то ли мексиканца.

Потом Светка еще узнала, что учится тот отлично и, наверное, по этой причине никакого участия в общественной жизни группы не принимает. Никто не видел, чтобы он выпивал или посещал дискотеки.

А Степан Апонте был «видным молодым человеком», как любила говаривать мама Марии, Наталья Ильинична, о людях с привлекательной внешностью. Самое же необъяснимое заключалось в том, что он, при всей своей привлекательности — черных кудрях до плеч и лучистых карих глазах, откровенно избегал общения с женским полом.

Мария, по натуре скромная и застенчивая, считала Степана недосыгаемой «звездой».

Молодые люди иногда сталкивались — в коридорах института или в библиотеке, и девушка порой ловила на себе внимательный взгляд Степана, но кто на кого не смотрит?

Шло время. Мария уже училась на пятом курсе, когда на одной из перемен к ней подошел однокурсник и со словами:

— На, — сунул в руки записку.

— Что — на? — не поняла девушка.

Однокурсник был человеком нервным, поэтому просто испепелил ее взглядом.

— Ты, что не видишь — это записка? Привыкли тут из себя недотрог строить!

И, развернувшись на каблуках, демонстрируя презрение ко всему женскому роду, удалился с гордо поднятой головой.

В записке назначалось свидание в семь часов вечера у кинотеатра, неподалеку от Мариинного дома. Девушка в задумчивости держала послание и не знала, что и думать — никакой подписи не было.

Пожав плечами, она направилась разыскивать Светлану. Та, узнав о записке, ка-

* Наш постоянный автор

тегорически заявила, что подруга обязана пойти на встречу — ведь это так романтично и интригующе!

— Ты идешь на свидание и стоишь около кинотеатра, а я — неподалеку. И, если записку прислал какой-нибудь нахал, то сразу прибегу к тебе на выручку.

Светлана гордо выпятила тощую грудь нулевого размера.

Последние часы перед свиданием Мария думал только об одном — кто написал эту записку?

Она не стала следовать излюбленному приему девушек — опаздывать, а пришла к кинотеатру ровно в семь часов. Каково же было ее удивление, когда перед входом она увидела Степана, который кого-то ожидал. А ждал он ее!

Когда Степан, улыбаясь, поздоровался с ней, она почувствовала себя такой растерянной и счастливой, что даже забыла подать условный знак Светлане, что все в порядке. Степан сказал, что он взял билеты на семичасовой сеанс и, если Мария не возражает и они немного поторопятся, то успеют к началу фильма.

О чем была картина — Мария даже не пыталась вникнуть. А когда Степан провожал ее до дома, то девушка впервые с чувством досады подумала о том, что жить так близко от кинотеатра нужно только в детском возрасте. На прощание, пожав ей руку, он попросил номер домашнего телефона. Ни блокнота, ни ручки ни у кого из них не оказалось, и она занервничала. Степан, заметив это, успокоил ее, сказав, что память на цифры у него отменная.

Мария еще долго смотрела ему вслед и думала, что это просто сон — он больше никогда не повторится.

Дома звонил телефон.

— Это, скорее всего, трезвонит твоя взбалмошная подруга. Она сегодня через каждые пятнадцать минут названивает, — недовольно проворчала Наталья Ильинична.

Мария сняла трубку.

— Ну, ты даешь! — просто завопила на том конце провода Света.

Она хотела знать все о прошедшем свидании, а что Мария могла ей рассказать? Что она не помнит не только названия фильма, но и ни одного слова из того, о чем они говорили. Весь мир был заполнен только им! Как эти чувства можно передать словами! Подруга же истолковав односложные ответы Марии, как нежелание что-либо рассказывать, обиделась и повесила трубку.

Не прошло и четырех месяцев после их первого свидания, как Степан и Мария подали заявление в ЗАГС.

Свадьба была скромная. После росписи гости направились в небольшую квартиру Марии, где, отпраздновав событие с самыми близкими друзьями, молодые и начали счастливую семейную жизнь.

При более близком знакомстве со свекровью, Тамарой Ивановной, молодожавой женщиной, правда, нервной и болезненной, Мария узнала историю возникновения латиноамериканской фамилии мужа.

— Я, — рассказывала Тамара Ивановна о своей жизни, — в конце семидесятых преподавала научный коммунизм в Плехановском институте. Там и познакомилась с моим будущим мужем Хосе Апонте.

В Союз, он приехал по настоянию отца, преподававшего в университете Аякучо. Это, деточка, один из беднейших районов Перу. И вот, их таких, воодушевленных идеями Че Гевары и Мао, обучалось у нас в институте несколько человек. Я занималась с ними факультативно по более углубленной программе, чем предполагала программа нашего вуза.

Вскоре мы с Хосе стали жить вместе. У меня ни минуты сомнения не было в том, что я уеду с ним в Перу и приму участие в основании Новой Республики Новой демократии — государства, защищающего коренное население — индейцев, — в этом

месте в голосе Тамары Ивановны послышались горделивые нотки. — Но случилось то, что должно было случиться. Я забеременела. Узнав об этом, Хосе очень обрадовался, но решительно настоял на том, чтобы я осталась дома, — продолжала рассказ свекровь. — Он на родине давно уже не был и на тот момент толком ничего не знал о событиях, что там происходят. И мы решили, что рожать я буду здесь, а Хосе за это время обустроит нам приемлемый быт там, в Перу. Он не мог остаться со мной до рождения Степушки. Его приезда требовало руководство организации — название ее, по конспиративным соображениям, он так мне и не сказал. Мой Хосе улетел один. А в положенный срок родился Степа, — здесь лицо Тамары Ивановны просияло. — Я назвала его в честь своего деда.

— С того момента, как мы расстались, я получила от мужа две весточки: о том, что он благополучно долетел, и короткое письмо-записку — в ней говорилось о выдвигении их отряда на новое место дислокации, откуда писать ему будет очень сложно. Первое время мне еще передавали приветы от него, но потом и этот скупой родник новостей иссяк. Я думаю, что Хосе арестовали и посадили в тюрьму. Иначе бы он обязательно дал о себе знать. Я была зла на него, а потом подумала: может, человек там мучается, а тут я его еще и клянчу?

И стала я тогда Степе об отце рассказывать как об исключительном человеке: он во имя высоких идеалов отказался от простого счастья — быть любимым и воспитывать сына.

Я абсолютно уверена: все эти годы мой муж продолжает любить и думать о нас, но в силу каких-то трагичных обстоятельств не подает о себе вестей. Ведь Хосе Апонте — человек, осознанно выбравший тяжелую и благородную жизнь, заслуживает уважения родных людей. По крайней мере, он — достойнее многих отцов, тех, кто не только не заботится о родных детях, но еще умудряются жить за счет своих жен и беспробудно пьянствовать.

— Знаешь, деточка, а Степа — вылитый отец. Такой же красавец и умница. Я твердо верю в то, что когда мой муж вернется и увидит нашего сына, он будет гордиться им, — в этом месте Тамара Ивановна вздохнула.

— Я всегда говорила сыну о нашей семье только позитивно. И о том, как должны складываться отношения между людьми, где присутствует и красивая романтика, и высокие идеалы, — откровенничала перед Марией свекровь, — потому что не хочу выглядеть в его глазах обычной женщиной с неустроенной личной жизнью. Не рассказывать же ему о том, как я бегала, «высунув язык», с одной работы на другую, чтобы прокормить себя и его. Степа должен гордиться родителями!

Мария тоже вздохнула. Она вдруг подумала, а что, если Степану вдруг захочется пойти по стопам революционного отца? Что она тогда будет делать? От такой мысли ее прямо в жар бросило. Славу Богу, сейчас другие времена, и образ Хосе Апонте побледнел и исчез из Мариного сознания.

Прошел год после свадьбы. Мария торопливо шла по улице с предчувствием, что должно произойти что-то нехорошее в ее жизни.

Хотя, вроде, ничего ужасного не случилось. Просто ей передали, что, когда она вела урок, звонил Степан. А звонил он только в экстренных случаях, и в голову Марии полезли всякие тревожные мысли.

«Неужели его на практику решили отправить в Тьмутаракань? У него ума хватит — он и сам может напроситься! Или Тамара Ивановна заболела (свекровь страдала частыми мигренями), а может, он сам?»

В общем, когда Мария вошла в квартиру, она приготовилась к «концу света», но, отворив дверь, застала тихую идиллию.

Степан на кухне обедал, а напротив сидела теща, и они, обсуждая, видимо, что-то веселое, смеялись.

Увидев в проеме дверей Марию, Наталья Ильинична кивнула:

— А вот и наша Мария пришла. Доченька, садись кушать, все еще горячее.

На эти слова обернулся Степан, и от того, как засияли его глаза, сердце женщины счастливо забилося.

— Да нет, спасибо, я не хочу. Я бежала домой, думала, что-то случилось, а вы тут сидите и спокойно воркуете?

Наталья Ильинична встала.

— Вы тут поговорите, а когда надумаете чай пить, то позовете.

Она вышла из кухни, прикрыв за собой дверь. Мать и дочь были не только внешне похожи, но и характер имели одинаковый. Спокойный и уравновешенный.

Мария заняла ее место за столом и вопросительно посмотрела на мужа.

— Ничего плохого не произошло. Я позвонил, чтобы ты одной из первых узнала о том, что мама получила от отца телеграмму с просьбой, чтобы я приехал к нему.

«Вот оно и случилось... Вот и появился призрак отца Апонте с просьбой отомстить за все человечество», — промелькнуло в голове Марии.

Видно, эта мысль отразилась на ее лице, потому что Степан с раздражением заметил:

— Отец прислал мне билет и небольшую сумму денег. Я уже созвонился с посольством и там меня заверили, что никаких проблем с гостевой визой не будет. И вообще, что произойдет, если я познакомлюсь с отцом? Мать тоже не видит в этом ничего страшного. А ты сидишь с недовольным лицом.

— При чем здесь мое лицо? Я не собираюсь тебе ничего запрещать. Ты — взрослый человек, но только я не понимаю, зачем тебе туда и в самом деле лететь? Не знал ты его все эти годы и прекрасно себя чувствовал. А как же я? Как я тут без тебя останусь?

— Ну, начинается, Мария! Я тебя полюбил не только за твои прекрасные глаза, но и за то, что ты очень умная и добрая. А вот такими словами ты меня начинаешь разочаровывать.

Он хотел что-то еще сказать, как в дверь позвонили.

— Пойду открою. Видно, это моя мать пришла.

Он оказался прав. Едва поздоровавшись с невесткой, Тамара Ивановна прошла с ним в комнату. Свекровь любила проводить с сыном конфиденциальные беседы за закрытыми дверями.

Мария знала, что разговор между матерью и сыном будет долгим, и решила навестить Свету, благо та жила через два дома по соседству. Ей захотелось с кем-то посоветоваться: как вести себя в данной ситуации?

У Марии, кроме матери (отец умер, когда ей было три года), родственников не было. А вот со Светкой они вместе ходили и в детский сад, и в школу, и даже поступили в один институт. Ближе, чем семья Ивановых, у Марии никого не было.

Светлана была незамужем и жила вместе с матерью и братом, с ее слов, вернувшись в родительский дом после «неудачного похода за счастьем».

Брат Светланы был старше девушек на десять лет и, в отличие от сестры, словно состоявшей из колючих треугольников, натуры экзальтированной, Сергей Иванов оставался спокойно-круглым и уютным. Если Светка — худющая и высокая, то Сергей — небольшого роста, с залысинами на голове и полноватый. Несмотря на такую непохожесть, их роднило одно: сестра и брат были людьми исключительной доброты.

По началу Мария стеснялась Сергея. Он вечно подшучивал над всеми. А над сестрой и ее подругами, в первую очередь. Потом привыкла, и, не обращая внимания на его подковырки, любила слушать советы и истории — их у Сергея Иванова всегда находилось множество на все случаи жизни.

И теперь, выслушав эмоциональный рассказ Марии по поводу злополучной телеграммы, он сказал:

— Господи, ну из-за чего, собственно, трагедию делать? Ну, пускай слетает мужик к своему отцу.

— Ну, о чем ты говоришь? — Светлана аж захлебнулась от возмущения. — Это ж тебе не в Рязанскую губернию на электричке съездить, а в Перу — к черту на куличики лететь. Там еще со времен Че Гевары какие-то революционеры ползают. Людей крадут. Просто ужас какой-то!

— Ну и темный же ты человек, Светка, а еще детей учишь. Пора тебе знать, да и твоей подруге не помешает задуматься о том, что человек, который находится, по моим подсчетам, в джунглях или по-ихнему в сельве больше двадцати лет и за это время ни разу не навестил семью, то там, в Перу, не так все просто.

— А ты возьми и просвети нас, темных! — предложила Светлана.

— Просвещаю. Только я не уверен, что отец Степана в той организации находится, о которой я читал. Названия я, к сожалению, не запомнил. А тебе свекровь ничего не говорила, к какой партии принадлежит ее муж? — обратился Сергей к Марии.

Та покачала головой.

— Ну, ладно, бог с ним. Всю эту информацию я из научных журналов вам пересказываю, а там — кто его знает.

Дело в том, что из заявлений их местных теоретиков следует, что не пролетариат по учению Маркса двигатель прогресса, а крестьяне, которых надо только воспитывать надлежащим образом. Вот тогда эти перевоспитанные крестьяне и сотворят мировую революцию. Они разрушат города, как источник зла, и будут заниматься натуральным хозяйством и духовно очищаться.

Ну, может, с какими-то другими крестьянами и возможно было поэкспериментировать, но с южноамериканскими, на мой разум, вряд ли. Они же все, как один, вырабатывают наркотики в джунглях. Эти «сельскохозяйственные культуры» контролируются мафией, которая держит население в ежовых рукавицах и идет на все, чтобы только сохранить бизнес; и, по-моему, те революционные элементы, которые долгое время находятся там, спелись с мафией и забыли для чего, они, собственно, в джунглях и сидят. Ведь на Перу приходится две трети мировых доходов от кокаина. Они эту коку все, как один, употребляют. Дети ее вместе со специальными листьями вместо жевательной резинки жуют. А хотите, я вам лучше одну историю расскажу, которая у меня в армии приключилась?

Девушки хотели.

— Дело было так. Назначили меня как-то в караул — охранять гауптвахту. Стоять на посту надо часа два. Скука страшная, а напротив моего поста в камере находился один паренек. Его на двое суток посадили. Ночью он здесь сидел, а днем его и других, что в соседних камерах находились, отводили на стройку работать.

Паренек этот был, как сейчас принято говорить, из благополучной семьи: отец и мать — профессора, врачи. Ну, вот, значит, подзывает он меня как-то к своей двери и предлагает, мол, давай поговорим. А мне тоже скучно стоять, я ему говорю: ну, давай, старших никого поблизости нет, болтай — не хочу.

Первым делом я спросил его, за что, мол, сидишь, а он мне отвечает: домой захотелось, вот и побежал, но не получилось. Вот тогда-то меня и понесло.

Говорю ему, что это за мотив такой для побега, вот, если бы у тебя цель была, например — помочь революционному движению наших братьев в Латинской Америке, тогда понятно.

Я же не знал, что он на голову сдвинутый, а он меня и так спросит и этак. Я от такого внимания и дальше все рассказываю, что знаю. В общем, закончил я дежурство и забыл про этот разговор.

А через два дня он и еще один, такой же ненормальный, сбежали из части в машине со строительным мусором. В общем, переполох был страшный: искали их месяца три. Приезжала в часть его мать. Естественно, плакала, говоря, что она доверила армии сына, а они недосмотрели и тому подобное.

Наш командир стоял от бешенства с багровым лицом и оправдывался. Ну, самое удивительное, что этих гавриков нашли. И где бы вы думали? В Аргентине.

— Да как они туда умудрились попасть? — чуть ли не одновременно воскликнули подружки.

— Как они добрались до южного порта нашей тогда еще необъятной Родины, это мне неизвестно. Но народ у нас сердобольный: видно, кто — одежкой помог, кто — продуктами.

В порту эти бедолаги нашли корабль с испанским названием и пробрались на него. Но как они там умудрились спрятаться, а главное — как попали на корабль, я этого до сих пор не пойму. Обнаружили их только в одном из портов Аргентины.

Сначала они попали в полицейский участок, а когда там разобрались, что они — русские, сообщили в посольство. Представляете весь кошмар ситуации в то время? Доставили их самолетом в Москву, а потом и в нашу часть для дальнейших разборок. Ну, а те на допросах и сказали, что они совершили побег, чтобы помочь местным революционерам в борьбе за их правое дело.

Я тогда был ни жив ни мертв, когда узнал об этом. Подумал, сейчас они скажут — кто их надоумил на такие подвиги. Но, слава богу, все обошлось. А бедолагам этим, как ты соизволила выразиться, революционерам по три года дали в дисциплинарном батальоне.

— А к чему ты эту историю рассказал? — спросила Светлана брата.

— Да так, вспомнилось просто. А вообще-то, девочки, я вам вот что сказать хочу. У каждого мужчины должно быть дело, в котором он себя чувствовал бы настоящим мужиком. Поэтому, может, и не стоит Степана отговаривать от поездки?

Он открыл холодильник и достал бутылку пива.

— Ну, ладно, вы здесь сплетничайте, а я пойду, футбол посмотрю.

Когда Сергей ушел, Светлана сказала:

— Да не слушай ты его, мужчины вообще в этой жизни ничего не понимают. Я имею в виду практическую сторону нашего бытия. Тоже мне «настоящим мужским делом», — передразнив интонацию брата, продолжила она. — Твой, наверное, забыл, что ему и институт заканчивать надо, и семью содержать? Тоже мне, скажи на милость, какой «Овод» выискался. А ты потребуй: пусть институт сначала закончит, а потом хоть на Северный полюс отправляется. А лучше знаешь, что, — Светлана понизила голос до шепота, — скажи, что беременна.

Мария отшатнулась от нее.

— Ты с ума сошла! Это же подлость. Степан мне этого никогда не простит.

— Ну, как знаешь. Останешься одна, тогда не до рассуждений будет, что я твоего Степана не знаю? Весь себе на уме, слово по-простому не скажет. И что ты в нем нашла, ведь, кроме внешности, ничего особенного — холодный, как каменная глыба, и выпендючий.

Так ничего и не придумав, чтобы отговорить мужа от путешествия, Мария распрощалась с гостеприимным домом Ивановых.

В этот поздний вечер ни Степан, ни Мария больше не заговаривали о том лететь или не лететь Степану к отцу. Мария решила для себя, что, если она любит этого мужчину, то должна разделить с ним все его устремления и начинания.

Видно, в благодарность за ее чуткость в оставшиеся дни перед отлетом Степан старался все время проводить с женой, ласково целуя ей руки и признаваясь в любви, не стесняясь ни ее, ни матери, которая теперь находилась, по мере возможности, с

сыном. С невесткой Тамара Ивановна старалась без особой нужды не разговаривать, после того, как поняла, что та не одобряет поездку Степана в Перу.

Наконец все формальности были выполнены и с визой, и с отсутствием студента Апонте на занятиях в институте, и наступил тот момент, когда Мария, Степан и Тамара Ивановна прибыли в аэропорт.

Мария до последней минуты надеялась и ждала, что вот-вот произойдет нечто такое, что в одночасье разрешит все проблемы, и Степан никуда не поедет. На аэровокзале она все прислушивалась, что вот-вот объявят о том, что рейс Степана отменяется и переносится на неопределенный срок. Однако ничего этого не произошло, и самолет Степана улетел по расписанию.

Они быстро и холодно попрощались — невестка и свекровь. Мария на нее не обижалась. В эти минуты хотела только одного: никого не видеть.

На следующий день пришла телеграмма со словами: «долетел хорошо, меня встретили. Я всех целую и чтобы никто не плакал, так как скоро буду дома».

Прошел день, за ним — другой, пролетела неделя, за ней — другая, подошел к концу месяц, а от Степана не было никаких вестей.

Мария ходила на работу, смотрела телевизор, болтала со Светкой по телефону, а сама все время думала: вот день прошел, вот два дня, вот неделя на исходе, вот и месяц, где же ты, Степа? Ведь ты знаешь, как я жду тебя?

А на исходе второго месяца позвонила Тамара Ивановна и уставшим от слез голосом сообщила Марии, что получила письмо от сына.

В нем говорилось, что он жив, здоров и хочет остаться с отцом еще на полгода. Ему предложили поучить местных ребятишек, а также выступить с несколькими лекциями о тех событиях, которые произошли в его стране, которая так уверенно шла к победе коммунизма, но так почему—то не дошла. Степан согласился задержаться в Перу. Ему неудобно подводить отца, который, знакомя его со своими друзьями, отзывался о нем, как об очень ответственном человеке.

Степан просит мать, чтобы она оформила ему академический отпуск в институте, а также передала Марии, что он ее очень сильно любит и вспоминает о ней каждый день, но так как они сейчас уходят в джунгли, то нет ни какой возможности написать и ей письмо — его уже торопят. Он желает всем крепкого здоровья и надеется на скорую встречу.

— Представляешь, Мария, как в жизни все повторяется? А обо мне ни слова. Как ты там, мать, мол, живешь? Только одни указания! Ну, еще привет от Хосе передал. Только я не понимаю, что тот сам пару строк черкнуть не мог? Хотя кто этих мужчин поймет... Наверное, он с отцом позже мне приглашение пришлет. Ведь, если мой муж жив и здоров, значит, я могу туда приехать. Как ты думаешь? Ах, да ты же не знаешь всех нюансов отношений в нашей семье. Ну, всего тебе хорошего.

И Тамара Ивановна положила трубку.

Мария в полном смятении побежала к Светлане, где, между всхлипами, поведала о телефонном монологе свекрови.

Иванов задумчиво вертел в руках нож и без конца предлагал ей попить холодной водички.

— Знаешь, надо дать телеграмму, что ты умерла,— категорическим тоном заявила Светлана.

— Но доступ к телу продолжается,— пробормотал Сергей.

— Что ты там говоришь? — Светка подозрительно посмотрела на брата.

— Да так, анекдот один вспомнил по поводу похорон.

— Рассказывай,— потребовала та.

— У одного мужика была жена сомнительного поведения, а того, как назло посылают в длительную командировку. Он к соседу, а тот ему не волнуйся — поезжай,

я, как что замечу, так сразу дам телеграмму, мол, жена умерла, и они тебя там сразу отпустят домой. Ну, а потом придумаешь что-нибудь. Мужик со спокойной душой и уехал, а спустя несколько дней, сосед послал телеграмму с условленным текстом. Там прочитали и подумали, что жестоко так будет сообщить человеку без всяких подробностей о таком горе и отправили телеграмму с вопросом: когда, похороны? Сосед, прочитав телеграмму, подумал: может, тот забыл уговор, и послал другую — с таким текстом: «Когда похороны не знаю, но доступ к телу продолжается».

— К чему ты это клонишь?

— А к тому, что нечего заниматься ерундой! Более идиотского совета ты дать не могла? А когда Степан вернется, что он о Марии думать станет?

— А ничего плохого думать не станет, я в этом уверена. Он хоть и толстокожий, и непробиваемый в своем упрямстве, но человек неглупый — посмеется и все.

— И все?

— Да, и все! Надо же как-то действовать.

— Не слушай ты, Мария, никого, — обратился снова к Марии Сергей. — Степан тебя любит и обязательно вернется. У каждого человека могут быть разные обстоятельства, которые он не сможет в силу каких-то причин пересилить на данный момент. А потом наше посольство там есть, да и правители наши всегда на дружеской ноге со всякими режимами и диктатурами. Все в порядке будет. Ничего со Степаном плохого не произойдет.

На этой оптимистичной ноте Мария как-то успокоилась, Светлана перестала строить всевозможные планы и стала непривычно тихой и задумчивой.

Все стали пить чай с пирогом, который, со слов Светы, она, как чувствовала, что придет Мария, испекла совсем недавно.

Прошло несколько дней. В один из вечеров раздался звонок в дверь квартиры Марии. Открыв дверь, она обомлела — на пороге стоял молодой человек с похоронным венком, на лентах которого было золотом написано: «Любимой жене Марии от вечно скорбящего мужа».

— Кто здесь Мария Апонте? Ой, извините. Кто-нибудь из ее родственников есть в доме? Нужно в доставке расписаться.

— Давайте, я распишусь.

Прочитав подпись, молодой человек посмотрел на нее ошалевшими глазами.

— Да, молодой человек в жизни еще не то бывает.

Когда она закрыла дверь за посыльным, раздался голос Натальи Ильиничны:

— Доченька, это кто был?

— Не волнуйся, это дверью ошиблись.

Мария подошла к окну и стала смотреть на улицу. Она различала за домами свет от огней кинотеатра, где она впервые была со Степаном и горько улыбнулась.

«Глупая Светка, и какая она все-таки своевольная гадость! Сказали не делать — нет сделала. Не прощу ее вовек!»

Мария плакала и думала:

«Как мне теперь написать, а главное — куда: что моя смерть — это шутка. Решат, что в нашей стране одни сумасшедшие живут. А что Степа подумает? Он должен чувствовать, если меня любит, что я жива и что жду его, а не присылать венок. Хотя, кто его знает. Ведь вот как с его отцом получилось. Жаль, что у меня даже ребенка нет, как у Тамары Ивановны».

В эти минуты Марии казалось, что она и в самом деле умерла.

А на следующий день Светлана плакала и умоляла ее простить за эту «дурацкую» телеграмму. Она была готова хоть сейчас лететь в Перу и искать Степана...

— Да, ты права, когда говоришь, что я сначала делаю, а потом — думаю. Но я же хотела как лучше! И вообще-то ты не очень сердись на меня. Дело в том, что это тебе

посольство венков прислало. Они мне вчера звонили и «доложили о проделанной работе». Степан ничего не знает и не узнает. Я вроде, как на деревню дедушке, телеграмму отправила. Я же его адреса не знаю, вот я прямо в посольство телеграмму и отнесла. А ты думаешь дипломатам в посольстве делать нечего, как таких революционеров, вроде твоего Степана черт-те где разыскивать?

Подруги помирились. Мария любила Светлану. Ведь поступки последней происходили не по злобе, а, наоборот, от желания оказать ближнему услугу. Только вот какие последствия от ее услуг могут быть — хорошие или плохие, об этом Светка никогда не думала.

Уже на пороге, прощаясь и хлюпая покрасневшим носом, Светлана заметила:

— А венки красивые приволокли. Жалко, что ты ленточки уже сняла.

Ее спасло от затрешины — она ее явно заслужила — то, что в этот момент напротив стала открываться дверь.

Светка показала ей язык и чинно, неся венки перед собой, стала спускаться вниз по лестнице.

Мария весь день прятала венки в своем шкафу, чтобы мать его не увидела. Пусть теперь Светка отдувается. Хотя выносом венка она накажет эту бестолочь. По пути (а в этом Мария была уверена) ее соседи вопросами замучают: «Для кого это вы Светочка венки приготовили?». Теперь как раз все с работы возвращаются, так что на сегодня применение ее энергичной натуры найдено.

Прошло месяца четыре после отъезда Степана, когда как-то вечером, сидя у телевизора, Мария услышала:

— Как сообщает корреспондент РАИ, во время проходивших в течение последних двух суток столкновений сил правопорядка с сендеристами один боевик был убит. Перуанская полиция уничтожила три лагеря боевиков антиправительственного движения «Сендеро луминосо», расположившихся в джунглях в трехстах километрах от столицы страны Лима.

Мария бросилась к телевизору и увеличила звук.

— В этой связи министр внутренних дел страны заявил, что, «как он полагает, сендеристы будут полностью разгромлены»....

Она подошла к телефону с желанием позвонить свекрови и Ивановым, но в задумчивости опять села назад в кресло.

«Что это за антиправительственное движение и боевики? Тамара Ивановна говорила о том, что ее муж — коммунист и борется за лучшую жизнь для своего народа, а не какой-то там террорист. Что-то я ничего не понимаю...»

Однако Мария решила никому не звонить. Вот если ей кто сам позвонит, тогда она и сообщит об услышанном, а если нет, так и не зачем лишний раз об этом Перу говорить. Наверняка эта организация никого отношения к Степану не имеет.

А ей за весь вечер так никто и не позвонил.

Приближался праздник — Восемое марта. Друзья решили собраться дома у Марии. Наталья Ильинична замечательно пекла пирожки. Поэтому рассудительный Сергей, который обожал вкусно поесть, предложил, что лучше есть пироги с пылу с жару, а не тащить по улице, мол, не тот вкус будет. Светка пригрозила удивить всех каким-то изысканным салатом, а за Сергеем оставались цветы и шампанское.

Накануне Мария поехала проведать Тамару Ивановну. Отношения их за эти месяцы заметно потеплели. Теперь, когда Степана не было рядом, то Тамаре Ивановне не было нужды бороться с невесткой за внимание сына, а одиночество — штука страшная.

А когда бедная женщина, наконец, поняла, что в Перу ее никто не ждет, а может, и никогда не ждал, вся сила ее любви, сконцентрированная годами в ожидании счастья, переросла в злобу и ненависть к Хосе Апонте. Все разговоры об отце Степана начинались теперь со слов «подлец, бандит, подонок». Движимая обидой за свои

мечты, Тамара Ивановна, спустя столько лет, наконец, докопалась до «конспиративной деятельности» бывшего возлюбленного.

В этот визит Марии свекровь, прижимая от волнения к груди худые руки, прочитала невестке целый доклад по поводу деятельности перуанца Апонте.

— Представляешь, деточка, эта же экстремистская организация «Сендеро луминосо». Они, как наши народовольцы, такие же террористы. Сколько народу перебили — просто оторопь берет. Они даже в восемьдесят шестом году взорвали бомбу в нашем посольстве. Только и мечтают создать рабоче-крестьянское правительство. Одни уже насоздавались! — она усмехнулась.

— А я тоже хороша. Единственного сына отправила к человеку, который, может, и есть самый главный ихний головорез. Так мне и надо! Нечего было считать себя самой умной. Я же после научного коммунизма философию преподавать стала. И вот какой я вывод сделала: все эти философы — пустобрехи и неудачники. Только один взял и свою теорию в жизнь претворил. Это — Карл Маркс, и я перед ним преклоняюсь! И я хотела, чтобы Степа стал выдающийся человеком. Если не у нас, так хоть в другой стране.

Мария, не уловив логики говорившей, с изумлением спросила:

— Вы имеете в виду вторым Карлом Марксом?

— Деточка, не надо иронизировать. Я не сумасшедшая. Я говорю о масштабах личности.

Когда Мария передала свой разговор со свекровью Светке, у той глаза из треугольников превратились в квадраты.

— Знаешь, жаль, что твоя свекровь не поехала в Перу. У них там сейчас было бы все в порядке.

А Наталья Ильинична, услышав об этом, посоветовала дочери навещать Тамару Ивановну как можно чаще. «Мало, что женщина целыми днями, сидючи одна, может себе напридумывать?»

Но сейчас на праздник Мария не стала приглашать свекровь, чтобы ее заумными речами не портить настроение другим гостям, да и чего греха таить — и себе самой.

Все сидели уже за столом, когда в дверь позвонили.

— Я пойду, открою,— вызвалась Светлана.— Вот мы удивимся, если это Тамара Ивановна приехала!

Через секунду из прихожей раздался пронзительный визг Светланы. Наталья Ильинична побледнев, схватилась рукой за сердце. Сергей с Марией вскочили с мест. Один — чтобы бежать к сестре, вторая — за каплями матери, когда в комнату вошел... Степан с висящей у него на шее и визжащей Светкой.

Он разомкнул руки девушки и, подойдя к Марии, обнял ее. Услышав его такой родной запах, она только теперь поняла, как устала от долгих месяцев безвестности и ожидания. Мария не плакала. Она оживала.

Мария видела, как осунулся и исхудал ее Степа, и сердце ее наполнялось неизвестным ей до сегодняшнего дня чувством ненависти ко всему перуанскому народу.

Присутствующие целовались, обнимались и радовались встречи. Тамаре Ивановне о возвращении сына решили сообщить утром, чтобы не волновать ее на ночь. Хотя — какое это волнение? Только радость для материнского сердца, но так решил сам Степан.

А потом, когда все понемногу пришли в себя от неожиданной встречи, Степан им поведал о своих приключениях.

— Я с самого детства только и слышал разговоры о такой прекрасной стране, как Перу. Какая там удивительная природа, трудолюбивые люди, которые только и мечтают, чтобы освободиться от этих чертовых угнетателей всевозможных мастей! Втолковывали мне, что я такой же исключительный и возвышенный, как старший

Апонте.

А мать? Она, видите ли, жена героя. И воспитала меня одна, и осталась одна, больше ни за кого так и не вышла замуж, и я-то думал, что это все ради великой любви, которой пришлось пожертвовать во имя высоких идеалов. А оказалось все намного проще.

Ну, какому нормальному мужику захочется иметь в доме жену с амбициями заучившегося себялюбия, которая всех умнее и всех возвышеннее? Естественно, кто мог жениться на моей мамаше? Только идиот. Вот таким идиотом и оказался мой папаша, а когда понял во что влип, так и прикрыл побег революционными бреднями.

— Зачем ты говоришь такой вздор! Ты же сам знаешь, что все было не так! — неожиданно даже для себя заступилась за свекровь Мария. В эти минуты она любила все человечество.

— Да, ребята, простите, что я так о матери. Это от усталости. Ну, вот и я,— продолжал дальше Степан рассказ,— чтобы не уронить высокое имя Хосе Апонте готовился стать борцом за справедливость. Пошел в педагогический институт исключительно ради того, чтобы вывести население той далекой страны из неграмотности. Не позволял себе ни с девушками встречаться, ни по клубам всяким тягаться, даже в армию пошел с мыслью — вынесу ли я все то, о чем говорят, что в нашей армии твориться. Да... Думал, сейчас вот прилечу на свою историческую Родину, освоюсь, побуду некоторое время, а затем возвращусь домой, окончу институт, и вместе с Марией вернусь назад, в Перу. (В этом месте Мария с гордым видом окинула взглядом всех присутствующих за столом.) Мне казалось, что у революционеров — все справедливо, что нет такого безобразия, какое творится среди наших реформаторов.

Ведь в Перу чего только нет из полезных ископаемых! Побыв там, я даже теорию вывел, что, чем богаче страна природными ресурсами, тем глупее народ. Иначе чем объяснить бедственное положение народов не только в латиноамериканских странах, в Африке, да и в других местах, где вся таблица Менделеева в земле находится?

— Ну, а я думал, что глупее нашего народа нигде нет,— вставил всезнающий Сергей.

— Не обольщайся, я тоже так думал. Ну и посмотрелся я там на этих революционеров — все они из-за денег друг друга застрелить готовы. Правильно моя умная мамочка говорит, что революции делаются безграмотными людьми в теории, которые изначально закладывают конфликт в перевороты. Вот у нас всегда все революции проходят под лозунгом «грабь награбленное!» И я уверен, что и здесь скоро придут люди, которые потребуют у нынешних воротил так называемого бизнеса отдать украденное. А народ у кого это все забрал? Что свое прихватил, а что и чужое. И мечты об идеальном обществе стали испаряться из моей головы со скоростью звука. А тут еще их самый главный, с брюхом таким и с черной бородой, ну словом, с рожей оперного злодея, сказал моему отцу: надо проверить сначала революционный дух твоего сына, прежде, чем ему доверить учить тамошних ребятишек.

Под местными ребятишками, подразумевались пацаны по двенадцать — четырнадцать лет, которым резать человека — что раз плюнуть. Мой отец хоть там и не последний человек, но перечить этому толстомордому не стал. И отправились мы вместе с ним и еще с парочкой от замороженных по самое «не могу» к подножью Анд на асьенду, как мне сказали, пасти гуанако.

— А что это за чудище? — спросила Светлана.

— Это такие животные вроде ламы. У них шерсть и пух очень ценятся,— объяснил всезнающий Сергей.

— Правильно. И вот я сижу на этой ферме, до нее еще добирались несколько дней через пустыню, в обществе двух грязных индианок — они мне по очереди норовят глазки состроить — и еще какого-то сброда, то ли обкуренного, то ли наню-

хавшегося и, вы знаете, так мне захотелось домой, что не передать. Думаю еще несколько дней побуду и сбегу.

Цивилизации там никакой. Воды вдоволь нет. Из еды — сыр да лепешки с какой-то зеленью. Каждый день — то какие-то мешки грузим, то — какие-то мешки разгружаем.

А отец мой, этот революционер, здоровущий мужик, да и не дурак, как я успел убедиться, то перед одними пресмыкается, то перед другими — угодливо-вежливый. Смотреть противно. Мы с ним как-то все обговорили на первых порах по моему прибытию, а в последующие дни так только незначительными фразами перебрасывались. Понял, наверное, что все это мне не по нраву придется.

Дальше, все, как во сне, произошло. Как-то ночью проснулся от стрельбы. Грохот стоял со всех сторон. Это до нас добрались правительственные войска. Согнали всех в одну кучу и документы требуют. Каждого осматривают, записывают данные и в машины в наручниках грузят. Дошла очередь до меня. И тут отец раз в жизни выполнил отцовский долг. Защитил сына. Он сказал, что я — турист, которого они захватили с целью выкупа.

Меня посадили в машину, но без наручников. Если я — турист, то никуда не денусь. В ту ночь я отца видел в последний раз.

Около месяца меня допрашивали, думали, может, я что-то скрываю, а только потом в наше посольство сообщили.

Я еще в посольстве около недели находился, что-то там с визами делали. После всех этих проверок посадили меня, наконец, в самолет, и вот я здесь с вами.

Степан вздохнул.

— Нет, ребята, может, идеи коммунизма еще и живы, но лично я больше в революционеры не пойду. Я думаю, миром и без нас есть, кому управлять. А наше дело быть счастливыми.

— А как все же та организация называется, где ты за благо народа хотел жизнь отдать? — спросила любознательная Светлана

— «Сендеро луминосо», что означает «Сияющий путь». Но их правительство за последние годы крепко потрепало, так что организация разбилась на группы, и мой революционный папаша сейчас находился в группе под названием «Просегир». Все хватит об этих борцах! Давайте лучше..., — Степан хотел продолжить, но его перебил Сергей.

— Правильно, Степа. Пускай они там делают, что хотят. У нас здесь проблем хватает. Давайте выпьем за то, чтобы все остальные революции совершались только на кухнях граждан, да и то мысленно.

Все одобрительно загудели и стали чокаться, а Мария подумала, что, хоть больше революционный дух Хосе Апонте и не угрожает спокойствию ее дома, но разговоры о нем останутся еще на долгие, долгие годы. Отец все же...



Александр Томазов
(г. Тула)



Томазов Александр Александрович, родился в городе Туле 9 мая 1982 года. После окончания школы закончил автомеханический колледж транспортного строительства, а затем получил диплом Тульского государственного университета по специальности ПТМ и О. Работал по профессии. Писать начал в 2004 году, лелея мечту о создании большого интересного рассказа, который и закончил через три года. Далее переключил свой интерес на короткие, но емкие произведения, которые, вкупе с поэзией и музыкой, составляют его творческую жизнь.

ЕСЛИ ТЕБЯ НЕ БУДЕТ...

Сквозь синие шторы солнечный свет приобретал голубоватый оттенок. Невесомые пылинки плыли по воздуху, вдруг меня направление, вдруг останавливаясь в воздухе, ведомые, послушные неведомой силе. Я лежал, открыв глаза и наблюдая эти странные перемещения, одновременно прислушиваясь к ее дыханию, спокойному и размеренному. Мозг был все еще в двух состояниях... одно состояние понимало, что пора вставать, другое же упрямо не хотело этого делать, подавляя все силы и волю, заставляя лежать. Это было удивительно приятно. Удивительно приятно было лежать в теплой постели, подоткнув под себя одеяло, защищающее от прохладного воздуха, царившего в комнате, до слез приятно было чувствовать на своей руке голову любимой, которая продолжала спать, что было вовсе не удивительно. Шел седьмой час утра. Никогда раньше по собственной воле не просыпался я так рано, но сегодня что-то поменялось. Что-то случилось, что-то, что заставило меня проснуться. Я не мог понять, что именно. Лишь странное, отдаленное чувство страха засело в сердце, покалывая и мешая полностью расслабиться и быть счастливым. Так продолжалось некоторое время и постепенно стихло. Наступил момент, и я смог вздохнуть полной грудью, осознав, что все вернулось на свои места. Понял, что стал самим собой. Перевернувшись на бок, некоторое время, прежде чем поцеловать, глядел на нее, любуясь. Она спала спокойно, волосы разметались и лежали на подушке, образуя сложный узор. Одеяло едва прикрывало плечо, спускаясь ниже и свешиваясь с кровати.

— Милая,— прошептал я, наклоняясь к ней и целуя.— Милая, просыпайся,— проводя ладонью по ее чудесным локонам и накручивая их на пальцы, я чувствовал ее запах. Еще не открыв глаза, она потянулась и поцеловала меня в ответ.

— Еще так рано... почему ты проснулся?

— Я не знаю. Просто проснулся и все. Давай просыпайся тоже, мне скучно. Как ты спала?

Она зевнула, прикрыв свой рот с прелестными ровными зубками правой ладонью, и потянулась, сев на кровати.

— Ты знаешь, сегодняшняя ночь прошла прекрасно! Я давно не спала так сладко, как сегодня. Мне кажется, мы начинаем привыкать друг к другу... ну, ты понимаешь, что я имею в виду?

Я знал, о чем она говорит. Мы относительно недавно поженились и стали спать вместе, но всегда, непосредственно перед сном, отодвигались друг от друга. Каждому нужна была свобода, чтобы свернуться калачиком и спокойно уснуть. А вчера мы уснули в обнимку и проснулись сегодня обнявшись, так что эту ночь можно считать первой, которую мы провели полностью вдвоем...

Наши отношения развивались быстро, и еще быстрее росла наша любовь. Иногда это даже пугало меня, так сильно я становился зависим от нее. Образ любимой не отступал перед моим взором ни на миг, в каждой девушке я видел ее. Проходя по улице, я слышал запах ее волос, находясь в пустой машине — слышал ее речь. И уже не представлял себя без другого моего «я», коим являлась она. Ругались мы редко; собственно это была не ругань, а притирки, без которых немислимы никакие отношения, и после которых они были еще слаженнее. И что самое удивительное и прекрасное — с ее стороны я чувствовал то же самое. Как будто зеркало отражало мои чувства, возвращая их увеличенными втрое. Тонкое понимание моей души — вот что отличало ее от других. Вот что возвышало ее над всеми!

Моя работа была такова, что домой я появлялся поздно вечером, когда звезды на небе были уже зажжены. Дома парился под тряпками, чтобы не остыл, ужин, любовно приготовленный моей ненаглядной, и сама она томилась в ожидании. Обычно, во время ужина, мы негромко переговаривались, обсуждая прошедшие за день события, споря и соглашаясь друг с другом, иногда я одерживал верх, иногда нет. Спокойная размеренная жизнь затягивала нас все глубже и глубже, не давая поводов для беспокойства и волнений, полностью расслабляя. Смутно, очень смутно трогало лишь то, что мой организм начинал переставать чувствовать себя одним целым, если ее не было рядом. Становилось грустно, спокойствие куда-то уходило, и ее место занимала еще невнятная, неопределенная тревога.

В тот день мы шли к ее маме, которая жила всего в трех кварталах от нас. С самого начала пути разгорелся спор: я хотел купить вишневый, ну, на худой конец, яблочный пирог. Всегда, заходя в гости к теще, мы пили чай с лимоном, разговаривая о ценах, соседях и, конечно, о политике. Естественно, что наши суждения ни коим образом не могли повлиять на ход истории, но, черт возьми, как приятно было перемалывать косточки всем этим государственным деятелям! И вполне трезво я заключил, что под такие разговоры пирог с чем-нибудь кисленьким будет в самый раз. А моя дражайшая половина и слышать об этом не хотела. Ей нравилась клубника, да-да, та самая клубника, которую все представляют в чаше со сливками. Но ведь это же чересчур!

Клубничные пироги никогда не бывают в меру сладкими, я заявляю это со всей ответственностью. Сладкий, даже приторный вкус не доставит такого удовольствия, как сладко-кислая вишня, это же любому ясно. Но, как я сказал, мои суждения, на сей раз в расчет не принимались, и пришлось покориться. Мир между нами восстановился в тот момент, когда в моей руке почувствовалась тяжесть большой коробки, сверху на которой была нарисована огромная, ярко-красная ягода. Взявшись под руки, шли мы по залитой солнцем улице, и все вокруг было чудесно, как в насыщенном, до невозможности реальном сне. Теплый воздух, согретый солнцем, обдувал нас, и казалось, временами я слышал слабый аромат клубничной фермы. Я даже увидел спелую клубнику, но, присмотревшись, понял, что это горит красный глаз светофора, приказывающий нам остановиться. Мысль о пироге навязчиво сидела в моем

мозгу... несомненно наша ссора из-за такого пустяка поразила мою душу. Я тайком взглянул на лицо своей жены. Она премило щебетала о чем-то, даже не догадываясь о том, что происходило в моей душе. Ее длинные ресницы трепетали, очаровывая, и сама она была прекрасна.

Улыбнувшись, я перевел взгляд и увидел облака, плывущие по синему небосводу, гонимые сильным ветром, который был там, высоко-высоко. Черными точками мелькали птицы, со свистом рассекающие воздух своими крыльями. Им-то не было дела до пирогов, до клубники и вишни, до наших отношений, до светофора, который все еще держал нас, не давая пройти. Они вольны лететь туда, куда им вздумается. Как это прекрасно — иметь свободу выбора. Но, не менее прекрасно, если эта свобода, хоть немного, но ограничивается любимым человеком. Ты уже думаешь не за одного, а за двоих, чувствуешь — за двоих, и живешь — за двоих... Ты и она — одно целое, хрупкий механизм, и его существование зависит целиком от вас.

Продолжая размышлять об этом, я остановился у края дороги, давая проход машинам, мчащимся по своим делам, со свистом рассекающим воздух, и посмотрел влево, туда, где шла моя супруга. А она... она продолжила идти вперед, не заметив тревожной красноты светофора. Раздался свист тормозов и светло-бежевая машина бампером ударила ее под колени. Ее удивленный взгляд — последнее, что увидел я перед тем, как слезы застили мне глаза. Коробка с тортом выпала из моих рук и гулко упала на теплый асфальт, меня начало трясти. Эмоции стали накатывать с бешеной скоростью: ярость — первое, что овладело мной. Я бросился к водительской двери, вытирая на ходу слезы, руки судорожно сжались в кулаки. Но через долю секунды сумерки оставили меня, а взамен пришло нечто более страшное: с моей любимой беда! Я приостановился, и ринулся к ней. И в этот-то момент мое существо начало понимать истины, как будто время остановилось, а затем ускорилося, и стали проходить недели и месяцы... Чувство страха в груди стало разрастаться, заполняя пустотой всю грудную клетку, обжигая мертвым холодом все мое нутро. Мысль о самом страшном... она предательски заползла в мозг, заставив сердце замереть на месте. Мир повернулся вокруг меня, и везде воцарилась пустота. Я висел в этой пустоте. Вокруг было темно, но я видел эту темноту, как будто что-то, изнутри меня, освещало ее. А в голове тяжело ворочались мысли... если она мертва... тогда мне нечего делать здесь, на этом свете. Без нее смысл меня будет потерян, его не будет... меня не будет!.. Все, чем я жил до этого, все, что составляло смысл моей жизни в настоящем и будущем... все это будет утрачено навсегда...

Буквы складывались в слова, слова — в строчки, которые стали вращаться вокруг меня, все быстрее и еще быстрее... я увидел, как всходит солнце, быстро, как в кино... увидел, как весело и беззаботно текут ручьи и огромные реки, меня очертания своих берегов... как материки сходятся и расходятся... и еще миллионы картин пронеслись передо мной... передо мной пронеслась жизнь... и ни к чему у меня не было интереса без Нее... И вдруг темнота передо мной начала делиться напополам: слева появился свет, подул свежим воздухом и послышался детский смех. Свет пульсировал; приглашая меня войти в него, он свернулся в широкий тоннель; справа же темнота еще более сгустилась, запах, идущий оттуда, был мертвым и сухим; оттуда доносился гул ветра и тянуло холодом... но там была Она... Она парила перед входом и в ее глазах был тот же удивленный взгляд, который я запомнил. Я дернулся к ней и тотчас же свет слева погас и нас окутала темнота...

Очнувшись, я понял, что сижу на асфальте и держу голову любимой на руках. Вокруг были люди, слышался вой сирены кареты скорой помощи... Растерянный водитель стоял рядом, губы его тряслись... и солнце палило нещадно...

Простыня была мокрой от пота. Я не мог надыхаться, судорожно втягивая воздух в себя и с шумом изгоняя его обратно. Слезы стекали по щекам, изливались тон-

кой струйкой по шее. Голубой свет луны освещал комнату, звезды виднелись на небосклоне. Первые секунды я не мог понять, что произошло, и лишь спустя время вспомнил. Вспомнил — и слезы вновь хлынули из моих глаз. Я ревел как ребенок, которого обидели, и для которого нет ничего страшнее этого. Откинувшись на подушку, я рвал на себе волосы от того горя, что постигло меня. Мне было тесно, с одного бока меня давила стена, а с другого... Я посмотрел — и мои глаза расширились от счастья. Это была Она! Еще не смея поверить, я дотронулся до Нее... Во сне Она повернулась ко мне и стала искать мою руку своей рукой. Это было полное, абсолютное счастье! Все оказалось кошмаром, страшным сном, одним из тех, которые кажутся настолько реальными, что это кажется нереальным.

С тех пор я поменялся. Моя Любимая не понимает, почему я иногда подолгу молчу... почему иногда плачу во сне... Почему подолгу гляжу на нее, не в силах отвести взгляд, и она засыпает под ним. И просыпается, когда мои глаза изучают ее тело... А я начинаю осознавать одну вещь. Нет теперь моей жизни. Есть Наша жизнь. По крайней мере у меня. И это страшит, потому что теперь я вдвое уязвим, вдвое слабее. Но все-таки, черт возьми, как приятно ощущать в себе двоих!..



Валерий Богушев
(г. Воронеж)

Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ...



Валерий Иванович Богушев родился в 1956 году в г. Калининграде. В 1978 году окончил Воронежский политехнический институт и начал работать в НИИ электромеханики. Полтора года проработал инженером в геологоразведочной экспедиции на Крайнем Севере. Служил офицером-двухгодичником в Советской Армии. В 90-е годы участвовал в разработке и освоении новых моделей электронной техники. В настоящее время работает ведущим инженером на одном из предприятий г. Воронежа, сотрудничает с газетой «Промышленные вести».

Помимо местных изданий — журналов «Воронеж» и «Подъем», еженедельников «Берег», «Здравствуй», «Вечерняя газета», «Страж Отчизны», «Воронежские вести», «Юго-Восточный экспресс» и др., — печатался в «Литературной России», «Литературной Газете», а также в хабаровском журнале «Наши семейный очаг». Постоянный автор «Приокских зорь».

Он поставил свой «МАЗ» в гараж и зашел в бухгалтерию.

— Здравствуйте, можно у вас справку о зарплате получить? Хочу ссуду в банке взять.

— Да, конечно,— приветливо взглянув на него, сказала девушка, сидевшая за компьютером.— Как ваши фамилия, имя, отчество?

— Бережков я Павел Алексеевич.

Девушка была самая обыкновенная, со светлыми волосами до плеч и серыми глазами. Из джинсов сзади выглядывала тонкая полоска трусиков, как бы приглашая дорисовать в воображении то, что скрыто от взгляда. «Надо же, до чего дошла мода»,— мысленно усмехнулся Бережков. Во времена его молодости такая откровенность в одежде и не снилось никому... Девушка пощелкала клавиатурой, распечатала справку на принтере и вышла подписать у главного, улыбнувшись и мелькнув под коротким свитером полоской смуглого живота.

Павел Алексеевич стоял у стола и ждал. Монитор был включен, и по зеленому полю проплывала на разных уровнях набранная крупными красными буквами одна и та же фраза: «Я тебя люблю!»

— Интересно, кто это счастливчик? — пошутил Бережков, когда девушка вернулась, кивнув на экран.

Она улыбнулась смущено, сказала, что просто так развлекается, и торопливо закрыла фразу, вызвав из глубин компьютерной памяти какую-то скучную бухгалтерскую таблицу.

— Недавно работаете у нас? — спросил Павел Алексеевич.

Она охотно рассказала, что закончила юридический техникум, учится заочно на экономическом в университете и боится, что ее не оставят после испытательного срока из-за учебы.

— Все будет хорошо, — успокоил ее Бережков.

Он увидел ее еще спустя два месяца на новогодней корпоративной вечеринке в кафешке.

Она, запыхавшаяся и сияющая, вернулась с танца за свой столик, где он с электриком Дмитрием Александровичем, высоким и прикольным мужчиной за сорок, успел познакомиться и выпить за любовь с двумя ее подругами. Садясь, она словно нарочно задержалась в наклоне так, что в вырезе блузки была видна грудь, и с нисходящей с губ улыбкой назвала свое такое соблазнительное имя, похожее на тающий во рту кусочек шоколада, — Даша.

— Ну как, удалось взять ссуду? — спросила она.

— Да, уже и потратить успели. Купили машину.

Снова выпили и вышли покурить в закутке перед входом в кафе.

Потом опять сидели за столиком допивали вино «за вас и за нас».

— Ты кого выбираешь? — спросил вполголоса Дмитрий Александрович.

— На танец?

— На танец и вообще. Думаешь, девушки нас только для танцев за свой столик пригласили?

— А для чего же еще? Мы им в отцы годимся.

— Ну, Алексеич, ты отстал от жизни. Ладно, как хочешь, Я выбираю Анжелу. Не возражаешь?

— Да нет...

А когда они с Дашей остались вдвоем за столиком, она сама позвала его танцевать. Это был быстрый танец, но она не примкнула ни к одному из кружков.

— «...Я скучаю по тебе», — подпевала она нежно и озорно колокольчиковым голосом. Ее серые лучащиеся глаза смотрели зовуще и ласково. Пожалуй, может быть, и не влюбленно, но влюбляюще — это точно! Даша словно приглашала в мир молодости, полной надежд и радостного многообразия выбора. Она гипнотизировала взглядом, и он не мог оторваться от чуть пьяных, озорных, невинных, соблазняющих глаз в ободке обведенных тушью ресниц. В этот миг он чувствовал себя счастливым и готов был простить судьбе все предыдущие несправедливости — от равнодушия девушек в юности, когда больше всего хотелось нежности, до еще не зарубцевавшихся в памяти нескольких лет всеобщего развала. Он ощущал сейчас только упоение от ее близости и от осознания того, что чем-то ее привлекает. Чем может нравиться молоденькой девушке выдавший виды мужчина? Влечет ли их недоступный и многообразный опыт разочарований и любви, поражений и побед, который отражается в чертах лица, манере разговора и жестах? Или манят блески золотой пыльцы навсегда исчезнувшего времени? Или, предчувствие предстоящего? А может, она сейчас опьянена вином и весельем, и ей хочется любить всех...

Танец закончился, но она не ушла, осталась с ним. Началась новая зажигательная песенка.

А он вспомнил, что другая гибкая и грациозная девушка, не отрывая от него взгляда, подпевала точно так же много лет назад на дискотеке в автодорожном техникуме:

*Кто тебе сказал, кто придумал,
Что тебя я не люблю?*

И где теперь та сладкоголосая, сводившая всех с ума студентка?!

Песня еще не закончилась, когда Даша увлекла Бережкова в укромный уголок за раздевалкой. Он ощутил ее долгий поцелуй и горячее щекотное дыхание в ухо:

— Поехали ко мне.

— К тебе? А это удобно?

— Да ты не волнуйся. Мы с подругой квартиру снимаем. Она на все праздники уехала домой в деревню...

Они стали встречаться. Не часто, но зато сколько радости доставляли и ему, и ей эти тайные короткие свидания. Взгляд у Павла Алексеевича стал светиться уверенностью и бодростью, как в молодости, а Даша призналась, что в его объятиях чувствовала себя так спокойно и сладко, как ни с одним из прежних молодых людей.

— А много у тебя их было? — спросил как-то Бережков простодушно.

— Какая тебе разница? Я же всем им предпочла тебя.

Если назначенное свидание по каким-либо причинам срывалось, Даша не находила себе места...

...И, наконец, она не смогла делить любимого мужчину с кем бы то ни было, и поставила ультиматум: или я, или жена. Судьба давала Павлу Алексеевичу шанс все начать сначала. Но кроме жены был еще сын, который через год заканчивал школу. После мучительных и тяжелых раздумий Бережков выбрал свою семью...

Он болезненно переживал разлуку. Тянуло зайти в бухгалтерию, просто увидеть Дашу и поговорить, но он сдерживал себя.

В первую субботу августа у него был день рождения. С утра давило беспокойное чувство, что как-то незаметно стукнуло уже сорок шесть. То и дело звонил телефон...

— Да, слушаю, — сказал он, в очередной раз сняв трубку.

— Павел, милый, я поздравляю тебя и желаю, чтобы все у тебя было хорошо, — это была Даша.

— Спасибо, — удивленно ответил Бережков, и, убедившись, что жена гремит на кухне посудой, добавил. — Мне очень приятно. Правда, Даша. Не ожидал... Я думал, ты меня совсем забыла.

— Никогда! Месяц назад на работе случайно увидела в окно, как ты курил в беседке, грустный такой, и всю ночь до трех часов плакала. Со мной ни разу такого не было. Я хочу, чтобы ты знал, что я ни о чем не жалею.

— Я тоже. Мне было очень хорошо с тобой... Видел тебя как-то с парнем на улице. Ты сейчас с кем-то встречаешься?

— Да. Отбила у одной барышни, — в ее голосе прозвучали грустные нотки. — У нас все серьезно. Раньше и не думала об этом, а теперь очень хочу семью. Ребенка.

— Желаю тебе счастья.

— Спасибо. Целую, целую, целую тебя.

Он повесил трубку.

— Кто звонил? — спросила жена.

— С работы...

— Молодцы, не забыли. Давай на стол накрывать. Скоро гости придут.

— Да, пора, — машинально ответил он и раскурил горчашую сигарету...



Тамара Булевич
(г. Красноярск)



ТРОПОЙ ЛЮБВИ

Рослый, видный, с копной темных, вечно косматых, непослушных волос, Владимир Снегирев был коренным сибиряком, потомком первых казаков — переселенцев с Дона и Поволжья. Таких аборигены Енисейской губернии называли чалдонами. Общительный, услужливый, он со всеми находил темы для разговора, у деревенских мужиков был гвоздем всякой программы. Они липли к нему, словно шмели на сахар, и вечно роились в снегиревском родовом доме да в кузне, где длинными зимними вечерами Владимир отливал себе новые чугунные ворота по рисункам деда Прохора. Работа кропотливая, тонкая, не допускающая никакой спешки. Но, когда нужно было хорошенько остудить отлитый кружевной фрагмент вязи, он успевал-таки кому-то приварить отвалившиеся от саней полозья, кому-то починить лыжи или кухонную утварь.

Разного народа собиралось: посадить — лавок не хватало. Запозднившиеся сидели в просторной рубленой избе на земляном полу, подоткнув под себя, кто обрезок доски, а кто всякое рваньё да лоскуты старой кошмы.

Селяне, ожидая своей очереди к кузнецу на починку всякой всячины, вдоволь наговаривались о своем житие — бытие. Иные и дела-то к Снегиреву не имели, но им здесь все было, как медом помазано. Желанно и душевно. Затем и приходили, чтоб мужицкие промысловые будни обсудить, охотничьи байки послушать да самим кое-что рассказать. Расходились мужички по домам за полночь, частенько гонимые под свои родные крыши незлобивой женой Владимира Людмилой.

По праздникам ли, на шумных гуляньях, когда Снегирев, лихо распластав ромашковые меха старенькой гармошки, едва успевал гукнуть аккордами, товарищи уж торопили: «Давай музыку, Снегирь! Чо мешкаешь-то, заждались голоса твоего. Которую неделю не слыхивали. Поскорее давай!». И так до конца застолья не было ему никакого продыху: «Спой да спой». Он послушно напевал им тихим с хрипотцой голосом, раскатистым, будто Кочома* на порогах, одну за другой казачьи песни.

Были в поселке мужики позвонче, поголосистой, но все, кричали и стучали ладошками по столу, требуя Снегирева, а, слышав его голос, казаки несмело, нестройно начинали подтягивать, подвывать ему. Потом умолкали. Затаенно шевеля обветренными губами, раскачивались всем телом на строганных листовках, улыбались, нет-нет да смахивая увесистыми кулаками быструю, талую слезу души.

Дома Снегирев жил тихо и смиренно, ни в чем не навязывая своего главенства. Безмерно любил раскосую красавицу Людмилу, однажды темной летней ночью выкраденную им из богатого чума.

Отец девушки, уважаемый знатный оленевод Эмидак Монго, пообещал ее в жены известному в Приангарье охотнику Онколю Момолю. Степенный, знающий себе и

* Кочома — название реки Подкаменной Тунгуски, впадающей в Енисей, в древней Тунгусии.

своему слову цену, Монго слушать не хотел о другом зяте. И вовсе не потому, что Момоль давал за невесту сто молодых оленей, десять ящиков водки и пятьдесят баргузинских соболей, а на годовщину свадьбы обещал дарить Эмидаку каждое лето по шкуре медведя да трех сохатых в придачу. «Подумай, дочь! — уговаривал ее Эмидак. Завидный жених из древнего рода желает тебя в жены. Он такой же, как и мы — эвенк, потомок тунгусов, сын тайги. Преданно служит ей и нашему народу. А как ты собираешься жить без Энин-Буга, прародительницы нашей оленихи-мамы?».

Но к тому времени Владимир и Людмила уже так полюбили друг друга, что не могли дождаться дня свадьбы. Познакомились они в эвенкийском поселке Байките на слете молодых передовиков Эвенкийской нефтеразведки. По сценарию организаторов слета буровик Владимир Снегирев, а среди своих просто Вовка Снегирь, в фойе клуба должен был петь под гитару популярную комсомольскую песню «Главное, ребята, сердцем не стареть». Напротив стояла черноволосая девушка с горящими звездочками-глазищами и откровенно, восхищенно смотрела на симпатичного гитариста. И тут Вовку накрыло такой жгучей, страстной волной, что у него вмиг запершило в горле, а потом и вовсе куда-то пропал голос. А рвалось и металось его бедное сердце! Оно, казалось, вот-вот вырвется из плена тела, возгорится и прильнет к крутой, пляшущей от волнения груди чаровницы.

Парень и вовсе задохнулся, забыл слова песни. Смущенно извиняясь перед ребятами и девушками, тесно обступившими его, Снегирь, мало помня себя, сунул в руки виновнице его провала гитару и спешно потянул ее к выходу.

...Долго бродили они по звенящим солнечным улицам и никак не могли наговориться, рассказывая о себе самое сокровенное, потаенное, желаемое. Вечером Вовка, передовик-буровик, провожал Людмилу к причалу, где в назначенный час уже стояла моторная лодка «Баргузин» ее отца Эмидака Монго.

Потеряв рассудок от нахлынувших, неподвластных ему чувств первой влюбленности, предстоящего расставания, представить не мог, как теперь дышать и жить без этого лесного чуда. Его и только его чуда — Людмилы-Людочки. Долго не раздумывая, сел вместе с ней в лодку, и через час на берегу Подкаменной Тунгуски предстал перед строгим взглядом ее отца.

Тот уничтожающе сердито встретил незваного луча*. Владимир вовсе не ожидал такого знакомства. Оробел и сник.

Эмидак, грозно размахивая руками, что-то прокричал пожилому лодочнику-эвенку, и тот незлобно толкнул парня в сторону реки: «Уходи, уходи домой!».

Влюбленные успели ухватиться друг за друга руками. Вовка шепнул Люде, что его буровая вышка, здесь, неподалеку от их стойбища, и он будет ждать ее каждый вечер на берегу реки у Лунной косы.

На первом же свидании Люда сообщила о непреклонном решении отца породниться с Онкоулем Момолем. Свадьба назначена на середину лета. О том, что дочь полюбила другого, Эмидак и слышать не хотел. В ответ на отцовскую грубость и непонимание Людмила наотрез отказалась подчиниться его воле. Впервые они горячо поссорились.

«Не позорь имя мое и рода! Я дал слово — сдержу его. Потом будешь благодарить меня за достойного мужа!» — на этом Эмидак прервал разговор, считая судьбу дочери решенной.

Спасая любовь, Владимир с Людмилой решили устроить побег, понимая, что он возможен только в отсутствие Эмидака. К счастью, тот собирался уйти на дальние стойбища для пополнения стада дикими оленями.

— Надо не упустить Богом посланную нам удачу! Возьмем с друзьями отгулы, и под видом рыбацкой артели подежури́м у реки, ожидая отъезда Эмидака,— радовал-

* Луча — русский, с эвенкийского.

ся безумно влюбленный Снегирев.

Но ничего из их затей не вышло бы, если бы выбор дочери не одобрила и не поддержала мать Элана. Чуткий и умный, Эмидак отцовским сердцем почувствовал что-то не ладное и под всякими предложениями тянул время, неотлучно оставаясь в чуме. А оно таяло и таяло, словно в небе легкое облако. Считанные часы разделяли Людмилу и выбранного ей жениха Онкоуля.

Элана, будто бы угождая мужу и в честь приезд жениха, готовила невесте богатое приданое, а на самом деле благословила единственную дочь на совсем другую жизнь и судьбу, о которой когда-то сама мечтала. Но ее счастье так и осталось несбыточным сном. Мать спешно набивала кули с постелью и посудой, шкурами и пушниной, шила новые дорогие одежды лесной темноокой фее.

Эмидак же дотянул до последнего дня, до сумерек, но так и не ушел в тайгу, а уплыл в райцентр Байкит встречать прилетающего утром дорогого зятя Онкоуля.

Этой тревожной и звездной ночью мать проводила дочь, враз повзрослевшую, зареванную, но безумно счастливую в неведомый путь. Ее кровинка Людочка, стоя в лодке, долго обеими руками, как крыльями, махала кричащей, мечущейся по Лунной косе в рыданиях матери.

Дочь отдалялась с любимым дальше и дальше от родного берега. Ее покачивающийся на серебристых волнах силуэт вскоре и вовсе исчез. Надолго. Навсегда...

Когда жена сообщила Владимиру о второй беременности, он, кружа ее в крепких объятиях, непривычно громко пел и плясал.

Их счастьем, казалось, не будет конца.

— Завтра же пошлю аргиш* к Эмидаку. Пусть твои отец с матерью переезжают к нам нянчить внуков. Хватит деду дуться на нас. Скоро уже третьего наследника подарим, а ему все нейдет. Не молодые, чтоб одним жить.

И только утром спросил:

— А можно ли тебе, мое солнышко? Врачи и первенцев нам не разрешали рожать!

На что Люда игриво ответила:

— При моей-то силушке — грех, Вова, не рожать! Не беда, что медики страшат отрицательном резус-фактором, большим риском для меня и малыша. Наши-то детки, смотри, какие! Растут как на дрожжах.

— И то, правда. Быстроногие первенцы, как кедрята на южном взгорке, подрастают час от часу. Скоро им по два годика исполнится. Мужики! А тебе, любимая, знаю, хочется снова насладиться материнством. Давай, радость моя, рожай! И десятерых прокормлю.

Снегирев любил своих черноглазых баркачан**. Они напоминали ему то шаловливых медвежат, то птенцов болотного черныша: с белым низом и сизым верхом. Смелых, крикливых. Не проходило и двух недель, как молодые чернышата начинали летать. И эти, снегирыта, на одно лицо, встали крепко на ножки — и года им не было. Только мать знала, кто из них кто. Толю от Коли отец отличить не мог. Но папа хитрый. Быстро сообразил и Толе стал прикалывать сзади к рукаву маленькую булабочку. Люда удивлялась:

— Днем и ночью с ними, а только недавно по вечно торчащим волосикам на макушке у Коли стала их уверенно различать, а ты как-то быстро...

— Я ведь — папа, кровь подсказывает! — улыбался довольный своей смекалкой Владимир. Но при первой же стирке его хитрушка обнаружилась.

— Вов! Это твоя «зарубка» чуть палец мне насквозь не проколола! Сознаешься — больно бить не стану, — и примирительно потрепала его всклоченные вихри.

В редкие часы общения с малышами молодой папа млел от счастья. Он полно-

*Аргиш — перекочевка, с эвенкийского.

** Баркачан — медвежонок, с эвенкийского.

стью отдавался на откуп их неуемным фантазиям. Резвые сынишки зарывали его в песок. Ставили на четвереньки и до полного изнеможения катались на отцовской спине. Раскрашивали под собачку, зайчика и Вини Пуха...

Уже уставших, но не утомившихся малышей отец усаживал на колени и весело читал им «Уйгурские сказки». Потом серьезно расспрашивал, кто что запомнил. Мальчишки наперебой улюлюкали. Гомонили на весь дом. Но папка терпеливо, участливо выслушивал их лепет, поддакивал, будто что-то понимал в их бесконечной веселой трескотне, нежно гладил пушистые, смоляные головки.

Семья Снегиревых жила в глухом таежном поселке Куюмбе тесно прижавшейся к быстрому руслу Подкаменной Тунгуски. Владимир работал мастером на буровой в версте от дома, за Рыбачьим мысом. Серебристая кормилица пикой упиралась в небосклон, нанизывая на себя по ночам монисты игривых звезд. Она давала пропитание куюмбовским семьям. Здесь зарабатывали на хлеб с маслом все местное — мужское и женское — население.

Владимир никогда не разрешал Людмиле работать где-то. Сам сполна обеспечивал семью всем необходимым. А ей хватало дел и по дому. Подрастающие малыши требовали особого внимания и забот.

Теперь уж до родов оставалось два месяца. Надо бы снова слетать в Байкит к врачам, но погоды стояли нелетные: жгучий под пятьдесят морозище да с северным иглистым ветром. В таком адском холоде металл и тот сам по себе крошился, как глинянит при ударе. Вертолетчики отсиживались дома, лишь по нескольку раз за день выбегали на крыльцо и, взглядываясь в мглистое небо, вымаливали у него милости.

...В тот день радужно искрящая алмазная изморозь заполнила все воздушное пространство над тайгой и заимкой. Пробивающееся к земле блеклым, рваным блином солнце чуть светило на заснеженные дома. И только дымящиеся печные трубы да лабиринты протоптанных в один-два следа коридоров обозначали в безбрежном снежном царстве живущих своей привычной жизнью дома северян.

Когда у Людмилы внезапно начались схватки, муж был на буровой. Соседей не дозовешься, и она, наскоро одев притихших ребят, вышла на улицу. Кружилась голова, отнималась спина, резала ножом боль внизу живота. «Неужели роды...». Потом мало что помнила. Ее с детьми догнала чья-то санная повозка и отвезла в медпункт. Повар с буровой передал фельдшернице Марии Ивановне с рук на руки теряющую сознание Людмилу с ее примороженными малолетками, а сам помчался к Снегиреву.

В переднем углу конторы нефтяников на сколоченной из тесаных досок тумбе стояла единственная в заимке старенькая рация, которая неплохо работала при умеренно низких температурах. Но тут радист, как ни старался, настроить ее не мог.

А значит, на санитарную авиацию из Байкита фельдшернице рассчитывать не приходилось. Не раз в таких случаях Мария Ивановна справлялась сама. Но сегодня все складывалось против роженицы: отрицательный резус — фактор, несовместимый с отцом, кровотечение и... кома. Малыш родился чудом, измученный, обессиленный сопротивлением сильным рукам Марии Ивановны, вытянувшим его из тьмы...

Мама Люда уже была не с ним...

Малыш на мгновение проваливался в тревожный сон, вздрагивал, жалобно всхлипывал, затихал. И снова по-щенячьи скулил и плакал. Словно опротестовывал свое насильственное появление на белый свет без мамы...

Мария Ивановна, вырастившая троих детей, по-матерински привязалась к незаслуженно обездоленному судьбой Андрюшке, ласково называя его «снегирьком» и «крестником». Держала более месяца в стационаре, не доверяя никому заботу о нем. В свободное от приема время склонялась над кюветкой беспокойного пациента. Постоянно разговаривала с ним, готовила молочные смеси, купала в таежных травяных настоях. Городским летчикам заказывала разные детские премудрости, которые по-

могали крохе набираться сил и расти, расти.

Вскоре Андрюша по-снегиревски твердо решил смириться с жизнью. Остаться в этом неудобном для него мире, чтобы поближе самому рассмотреть и познать его. Почти не плакал, а чаще искал черными, раскосыми глазенками добрую тетю в белом халате, ждал нежного прикосновения теплых рук. Следил за ее передвижениями по кабинету и наверстывал упущенные блага сном. Просыпаясь голодным волчонком, аппетитно опустошал молочные бутылки. Малыш крепчал!

Отец тоже был рядом с сыном Андрюшей, оставляя старших двухлеток на попечение рано овдовевшей, бездетной сестры Сони, решившей на время оставить солнечные Сочи и помочь брату подрастить трех сыновей. Владимиру пришлось уйти с буровой и учиться быть детям мамой и папой.

Потомственный охотник, мастер на все руки, ставил детей «на крыло» один. Без мамы Люды...

Подрастающие сыновья во всем охотно помогали отцу. Их сытно кормила тайга, и баловала осетринкой да стерлядкой Подкаменная Тунгуска. Часто промышляли всем семейством на таежных угодьях, добывая шкуры, меха на теплую одежду для себя и на продажу заезжим скупщикам.

Владимир любил тайгу особой любовью, как может любить только добрый и чистый человек. Оберегал ее на своих угодьях от всяких напастей, заботился о птицах и зверье.

С раннего детства отец приучил сыновей почитать зеленую кормилицу, заклинал исполнять лесные заповеди: «Понапрасну — не губи! Беззащитным — не вреди! На дармовое — не жадничай!»

Не только словами, но и поступками показывал своим снегирятам, как надо любить таежный мир.

...Однажды он привез в дом маленького лосенка, названного им Валькой. Малыш едва стоял на высоких, дрожащих и непослушных ногах. Скорее всего, был он у лосихи вторым теленком, по воле какого-то случая отбившимся от нее. Тогда Владимир случайно наткнулся на него и, рискуя собой, высвободил его из плена коварного распадка.

Вальке было меньше недели от роду. Оголодавший и слабый, он отчаянно пытался выкарабкаться на сушу. Но скользкий, трухлявый сушняк, обламывался, крошился и снова тянул его в студеною талую воду. Не произойди эта встреча — ему бы не жить!

В доме Валька быстро освоился, отогрелся в теплом предбаннике на старом отцовском полушубке. Напился молока с манкой, отоспался. И уже на следующее утро шустро бегал по подворью, брыкался, высоко подпрыгивал, тузил забор. Полюбил тетю Соню, почему-то считая ее своей матерью. Стоило ей спуститься с крыльца, как чуткий Валька оставлял забавы. Пострелком мчался к ней и начинал облизывать всю, где только мог достать, тычась по тете Соне симпатичной мордочкой. А когда она выносила лосенку пойло — молоко с кусочками размоченного хлеба — он едва не сшибал «мамку» с ног, на лету засасывая края ее цветастого фартука. Вскоре от таких «наездов» от бедолаги остались жалкие, жеванные лохмотья.

Прислонив ведро к забору, тетя Соня ногами и руками пыталась удерживать ведро в стоячем положении. Валька же всякий раз, прежде чем приступить к очередной кормежке, старался поддать коленом долгожданному кормильцу — знай, мол, хозяйна! — и только потом окунал в него ушастую мордочку. Изредка телок высовывал ее, чтобы хлебнуть воздуха, при этом громко сопел, фыркал, мотал головой.

В такие минуты откладывались дела, и семья с восторгом наблюдала за ним. К концу трапезы Валька был от копыт до холки в молоке и крошках. Пойла хватало на всех: лобастый шустрик не по разу благодарно обегал семейный круг, оставляя на каждом печати телячьей нежности и признательности.

Осенью Владимир навсегда разлучил сыновей с любимцем. Увез Вальку в род-

ные таежные дебри: на дальнее зимовье за Медвежью гору.

Быстроногого, сильного, упитанного, с заметно отрастающими бугорками-рожками.

И как-то, год спустя, они вновь повстречались на узкой, каменистой лосиной тропе.

Владимир узнал его издали. Но Валька остановился первым.

Здрав голову, лось долго смотрел на идущего навстречу человека. Чувственными, влажными, волосатыми ноздрями глубоко в себя втягивал летящий от него ветерок. В раздумье переминался с ноги на ногу, хрипло мычал, прижимаясь крупом к поросшему лишайником скальному выступу. Замирал, словно что-то сопоставляя и припоминая.

Опытный охотник остановился в десяти шагах от могучего красавца, протянул ему руку и тихо позвал: «Валька! Валька...» И тут же, вздыбив копытами известняковую пыль, лось ринулся к своему спасителю. Приблизившись вплотную, несколько раз обежал его, потом присанился, мотая головой, словно хвастаясь высокими, ветвистыми рогами. Добродушно хоркая, сопя, хукая, как в детстве, осторожно прижался к Владимиру торсом. Лопатистым, розовым языком стал бережно лизать ему руки, лицо и фуфайку.

В холке Валька вымахал под два метра и весил около полтонны.

Расчувствованный благодарной памятью, Владимир дрожащей рукой гладил доверчивую, тычущуюся в него Валькину морду. «Ну-ну, попрос ты, сынок...»

Зверь замирал от удовольствия, когда добрый человек ласково трепал за длинные уши, тербил свисающую на грудь клином густую, шелковистую бороду, одобрительно хлопал ладошками по сильным, стройным ногам.

Они долго и близко общались, наслаждаясь неожиданной и счастливой встречей, понимая друг друга на языке идущих от сердца звуков и выразительных телодвижений.

Разошлись в разные стороны медленно, неохотно, будто наперед зная, что никогда уже их тропы не пересекутся...

Прошли годы, и дети Владимира Снегирева выросли, зажили самостоятельными семьями, но отец по-прежнему нежно любил их, заботился, продолжал напутствовать в письмах и при встречах.

... В ту горестную весну, навсегда разлучившую сыновей с отцом, старшие близнецы Анатолий и Николай Снегиревы бороздили моря капитанами дальнего плавания вдали от родной Куюмбы, младший — Андрей — работал, как когда-то отец, в Эвенкийской нефтеразведке бурильщиком.

Владимир Снегирев погиб в тайге не в смертельной схватке с диким зверьем, с которым прожил свой век бок о бок во взаимоуважении. Его убила шальная браконьерская пуля, бездумная рука жестокого, ненасытного человека. Нет, не человека. Не-людя.

Сыновья помнят и любят отца, как в далекие годы своего непростого взросления. Помнят и стараются идти по жизни им проторенной тропой — тропой любви.



Сергей Крестьянкин*
(г. Ровно — г. Тула)



ПЕС ИНТЕЛЛИГЕНТ

Моей дочке Кирочке посвящаю

Возвращался я как-то летним вечером домой к другу (я тогда у него гостил несколько дней).

Шел неторопливо, заложив руки за спину, о чем-то задумавшись.

Неожиданно что-то мохнатое коснулось моих рук. Автоматически их отдернув, я остановился и затаил дыхание.

Огромный пес проплыл рядом и, остановившись чуть поодаль, уставился в мою сторону.

Я огляделся. Хозяина пса нигде не было видно. Четвероногий спокойно сидел и наблюдал за мной.

Медленно подойдя к собаке, присмотрелся. Это была довольно крупная, абсолютно черная, сливающаяся с ночью, немецкая овчарка с кожаным ошейником и вполне спокойным нравом.

— Что же ты меня напугал, дружище? Разве можно так неожиданно проявлять знаки внимания к незнакомым людям.

Пес приподнялся и помахал хвостом, как бы прося прощения.

— Ладно, я вижу, что ты все прекрасно понял. Не расстраивайся. С кем не бывает. Ты извини, я не могу тебе уделить больше внимания. Меня ждут. Спокойной ночи.

Махнув ему на прощание, я зашагал дальше. Но, уже сделав несколько шагов, услышал за спиной частое дыхание. Мой знакомый пробежал мимо и остановился впереди, шагах в пяти.

— Ну, что ты? Мы же с тобой уже попрощались,— недоуменно проговорил я.

Но «сливающийся с ночью» внимательно, как мне показалось, посмотрел на меня, помахал хвостом и побежал рядом.

Вскоре я свернул на боковую дорожку и подошел к дому.

— Ну, вот я и добрался. Спасибо за компанию. Мне было очень приятно с вами познакомиться и общаться.

Пес, не моргая, смотрел мне в глаза.

— А то может, зайдешь в гости? — совсем как человеку предложил я. Он, казалось, только этого и ждал — вильнул хвостом и проскочил мимо меня в подъезд.

Мне ничего не оставалось, как последовать за ним.

Вместе с треньканьем звонка в квартире раздался лай Тишки, послышались шаги, и дверь распахнулась. Брови Ирины Ивановны (мамы моего друга) взметнулись вверх, в глазах читался немой вопрос. Я поспешил ее успокоить.

* Наш постоянный автор.

— Знакомьтесь,— переступая порог, проговорил я.— Это мой новый знакомый, с которым мы познакомились минут пятнадцать назад. Очень воспитанный и культурный. Сам вызвался проводить меня до дома. Я не удержался и пригласил его в гости.

— Ну, если пригласил,— сказала Ирина Ивановна,— то неудобно держать его в дверях. Тишка, замолчи — это гости. Заходи,— пригласила она моего спутника. Мама моего друга была любительницей животных и к тому же обладала чувством юмора.

Пес степенно вошел. Осмотрелся и сел возле двери.

Тишка не унимался. Подбегал и, гавкая, отбегал обратно. Мой сопровождающий не проявлял никакой агрессии, внимательно наблюдая за действиями хозяйской маленькой собаки. Переведя взгляд с нее на хозяев, как бы спрашивая: «Мне ей что-нибудь ответить или лучше промолчать?»

После нескольких попыток напугать незнакомую собаку, Тишка с чувством исполненного долга тьякнул, последний раз для порядка и стал медленно приближаться к гостю, помахивая хвостом и приняхиваясь. Овчарка поднялась, (Тишка подпрыгнул и отскочил в сторону), приветливо помахала хвостом, подтверждая свои добрые намерения по отношению ко всем присутствующим. Тишка фыркнул, улегся на свой коврик в углу, положил морду на передние лапы и стал спокойно наблюдать за неожиданно появившимся своим собратом.

Мой знакомый, не входя, заглянул в одну комнату, затем в другую, потом подошел к кухне и приняхался.

— Ты совершенно прав, дружок,— сказала Ирина Ивановна.— Пригласили в гости, а сами ничем не угощаем.— С этими словами она прошла на кухню, достала кость из супа, немного сыра, положила все это в миску, в другую налила воды и поставила перед гостем. Тот неторопливо все съел и выпил, помахал хвостом, слегка гавкнул и подошел к входной двери, как бы говоря: «Засиделся я тут у вас. Домой пора».

Я открыл ему дверь. Он переступил порог. Обернулся. Пару раз гавкнул. Мы помахали ему руками, пожелали счастливого пути. Тишка тьякнул со своего коврика. Черный пес вильнул хвостом и растаял в ночи.

— Какой интересный экземпляр,— подвел итог мой друг.

— Да, среди людей-то нечасто встретишь такой воспитанности.— Изрекла Ирина Ивановна и, задумавшись, добавила: — Словно английский лорд в гостях побывал. Учись, Тишка!

Но Тишка усиленно делал вид, что давно задремал и все происходящее его совершенно не касается.

г. Ровно

БУХАНКА

*Моей бабушке М. А. Щичилиной,
участнице трудового фронта посвящаю*

Вторая мировая война завершилась победой Советского Союза над Германией. Враг был полностью разгромлен и капитулировал. После всеобщей эйфории от долгожданной победы страна вступила в полосу восстановительных будней, серых своим однообразием и монотонностью, но радостных оттого, что не слышно выстрелов и взрывов, небо чистое, не пахнет гарью и видны результаты созидательного труда.

Постепенно заводы и фабрики начинали работать, выдавая свою продукцию, такую необходимую государству.

Расчищались завалы, сносились полуразрушенные здания, ремонтировались те, которые еще можно было отремонтировать, вывозился мусор, рыли котлованы под

строительство новых домов.

Мирная жизнь шла своим ходом и набирала обороты. Даже не шла, а вернее будет сказать, бурлила и клокотала.

Люди наслаждались наступившим послевоенным временем, хотя, порой, по привычке еще вздрагивали от любого случайного грохота. Но тут же вздыхали и улыбались своей вьезшейся привычке, которая некоторым не раз спасала жизнь.

Очень многие не вернулись с полей сражения. Почти в каждой советской семье были такие.

Люди остались без крова над головой, ютились в бараках безо всяких удобств и в общежитиях, где в лучшем случае были туалет и холодная вода.

Миллионы детей остались без родителей. Они скитались по чердакам и подвалам в вечном поиске еды.

Заработали магазины, но не каждый мог себе в них что-либо купить — цены кусались. Поэтому многие шли на рынок, где приобретали хоть и не новые вещи, но вполне добротные и по приемлемой цене.

Рынок.

Самый разгар торговли. Народу не протолкнуться.

Здесь можно было продать и купить все. Одежду и сапоги, туфли и шляпы, тульский самовар и трофейный немецкий самокат, табуретки, кастрюли, ложки, книги, собак и кошек, кур, гусей, картошку, лук, хлеб...

Ваня давно уже нарезал круги вокруг продуктовых прилавков, уж очень сильный запах подзабытый, а порой и вовсе не известный, но такой манящий, не мог оставить мальчика равнодушным, потому что не ел он со вчерашнего дня, да и то, что удалось поесть так, одно название. Тем более что перед глазами мелькало столько продуктов. Свежее мясо, домашняя колбаса, тушенка, сыр, молоко, творог, сметана, хлеб... черный, с поджаристой корочкой, такой аппетитный.

Ваня сглотнул, облизываясь. Не было больше никаких сил, чтобы удержаться. Взгляд приковался к буханке, которая нагло выставила свой запеченный хрустящий бок. Ваня представил, как он отламывает, нет, откусывает огромный кусок от этого черного хлеба и начинает его жевать и тот, хорошо пропеченный, хрустит на зубах, открывая взору ноздреватую мякоть и источая сильнейший, сногшибательный, одурманивающий аромат свежайшего рукотворного продукта.

Мальчик почувствовал, что сейчас потеряет сознание. Состояние ему было знакомое, такое не раз с ним приключалось от голода.

Ноги сами понесли его вперед.

Он взял буханку, которая его притягивала словно магнит, дрожащими руками, посмотрел на нее широко открытыми глазами и сглотнул слюну.

— Ты, что, пацан? А ну, положи на место! — крикнул продавец.

Окрик продавца заставил Ивана очнуться и вернуться из страны мечтаний в действительность.

«Что он сказал? — подумал мальчик. — Разве можно положить на место эту буханку? А как же поджаристая корочка?»

Ваня прижал хлеб к груди обеими руками, весь сжался и метнулся от прилавка.

— Держи вора! — послышалось вслед убегающему пацану.

Бежать сквозь толпу было сложно. Но еще сложнее было в этой ситуации на ходу откусывать от буханки и заглатывать большие куски, давясь и кашляя.

В голове мальчика крутилась только одна мысль: «Съесть, как можно больше. Ведь когда еще придется поесть — неизвестно».

Он слышал гомон вокруг себя и топот шагов приближающейся погони.

«Меня могут догнать. Будут бить и, наверное, очень сильно и если останусь живым, то хоть наемся. А если забьют до смерти, то тогда уж все равно».

Ваня споткнулся: толи камень под ногу попался, толи кто-то подножку поставил. Растянулся в пыли, но хлеб из рук не выпустил. Подняться сил уже не было. Он откусывал и почти не жуя, проглатывал.

Погоня его настигла.

Ваню начали бить по спине, по голове, по лицу, по ногам. Рванули за шиворот, поднимая с земли, порвали ворот рубахи. Он снова плюхнулся наземь. Одной рукой мальчик пытался закрыться от сыплющихся ударов, а другой крепко прижимал к себе остатки буханки, отрывая от нее куски и быстро, на сколько это было возможно, глотал.

Вокруг все шумели, кричали, ругали. Но для Вани это стало однообразным гулом, который почему-то все удалялся и удалялся, словно ему в уши начали затыкать вату. Он уже не рвал хлеб зубами, хотя все еще крепко прижимал его остатки к своей груди. Губы распухли, из носа текла кровь, глаз заплыл от синяка. Иван лежал в дорожной пыли безучастный ко всему, не чувствуя боли. Смотрел здоровым глазом сквозь какую-то пелену, наверное, слез, на солнце и думал: «Все-таки поел... Как хорошо...»

Гомон голосов усиливался. Его перестали бить.

Он услышал лай собак, и кто-то крикнул:

— Фашисты!

«Фашисты? — В голове мальчика шумело.— Значит опять нужно прятаться. Хотя в прошлый раз, когда немцы пришли в нашу деревню мы с мамой спрятались в сарае на сеновале, и фашисты нас отыскали только с помощью собак. Правда, чуть позже нам и еще нескольким людям удалось сбежать... Но ведь война же давно закончилась, какие могут быть фашисты? И почему тогда гавкают собаки?»

Ваня попытался сфокусировать свой слух, дабы понять, что же происходит вокруг.

— Что же вы, как фашисты! Взрослые мужики навалились. И кого бьете? Мальца! — пытался защитить Ваню баритон.

— Он — вор! — крикнул кто-то.

— Да вы посмотрите на него. Ему от силы лет десять,— попытался объяснить присутствующим все тот же голос — баритон.

— Да какая разница. Он буханку хлеба стянул и пытался улизнуть,— размахивал руками, объясняя толпе, разгоряченный продавец.

— То, что он украл — это не хорошо. Это очень плохо. Но давайте разберемся,— повел свою речь Ванин защитник.— Разве он украл ради баловства или шалости, или может быть для продажи? Нет. Он утащил не что-нибудь: золотые часы или шапку, а — хлеб. И на бегу он ел его, потому что этот маленький мальчик просто-напросто голоден и, может, голодает уже не один день. Где он живет? И есть ли у него родители?

Гомон в толпе прекратился. Люди уже не выкрикивали, стояли и молча слушали.

— Сколько после этой войны детей-сирот бродит по дорогам в поисках еды и ночлега, пытаясь хоть как-то выжить. А вы готовы этого пацаненка из-за какой-то буханки растерзать. Мы фашистов разгромили, а вы еще хуже оказывается. Ты живой, малец?

Ваня открыл глаза. Вернее попытался это сделать, и левый глаз открылся на половину, а правый открыть не удалось, так как он полностью заплыл от удара.

— Тебя как звать-то?

— Ваня,— с трудом проговорил он сквозь распухшие губы.

— А родители твои где? — допытывался мужчина, который его защищал.

— Батяня на фронте в сорок третьем погиб, а мама от голода этой зимой умерла. Нас с Машкой кормила, всю еду нам отдавала, а сама умерла.

Продавец хлеба пожал плечами, махнул рукой, что-то пробурчал, развернулся и

пошел к своему прилавку.

Народ начал расходиться.

Ваня приподнялся и сел здесь же прямо на дороге. Вытерев рукавом запекшуюся кровь из под носа, он облизал распухшие губы. Наполовину оторванный ворот рубахи болтался сзади вдоль спины.

— А Маша — это сестра твоя? — продолжал задавать вопросы мужчина, который спас его от расправы.

— Да, младшая. В подвале меня ждет, несколько домов отсюда.

— И сколько же ей лет?

— Шесть.

— А тебе-то самому сколько? — протянул руку мужчина, помогая Ване подняться на ноги.

— Девять.

Вернулся продавец хлеба и обратился к мальчику:

— Ты, это вот, что... Не сердчай. Погорячился я. На-ка, вот возьми.

Он протянул Ване еще полбуханки и банку тушенки.

Ваня недоверчиво посмотрел на того одним глазом, не торопясь брать дары.

— Бери-бери, — успокоил его мужчина, который защищал.

Мальчик схватил продукты, прижал их к себе, развернулся и быстро стал удаляться. «Не поймешь этих взрослых. То морду бьют, то едой заваливают. Как бы не передумали».

— Ты, это... Не сердчай! — кричал ему вслед продавец. — Нешто мы не люди! И вообще приходи, буду тебя подкармливать!

Но Ваня ничего этого уже не слышал. Он быстрым шагом пробирался по рынку, спеша к своей сестренке и думал: «Надо же, целая банка тушенки... Машка-то как обрадуется!»

г. Тула

ОВОА ДУРАКОВ — РЕАЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЖ

Около трех недель прошло с тех пор, как молодое пополнение прибыло в войсковую часть 04669 «Ж».

Скоро должна будет состояться присяга. А пока все они находились в карантине.

Учились подниматься по тревоге, быстро одеваться и становиться в строй. Времени на все это было отведено сорок пять секунд. И если поначалу многие новобранцы не укладывались в эти нормативы, то через две недели ежедневных тренировок почти все вновь прибывшие справлялись с этим заданием за полминуты. А один очень резвый по фамилии Сорманюк проделывал это за 19—20 секунд, от чего каждый раз вызывал бурный восторг и одобрительные возгласы старослужащих товарищей, которые приходили посмотреть на обучение молодежи. И когда все убедились, что это не случайность, что Сорманюк каждый раз одевается быстрее всех и всегда первый становится в проходе между кроватями один из «стариков» сказал:

— Запомни меня. Завтра утром подойдешь к моему столу в столовой — я отдам тебе свое масло. Это будет тебе наградой за быстроту.

Кроме этого учились аккуратно и ровно заправлять койки, каждое утро подшивать свежие подворотники, ходить строем, мыть полы в казарме и еще много чего учились делать, чтобы на ближайшие два года успешно влиться в коллектив воинской части и быть достойной сменой, готовящимся к демобилизации своим старшим товарищам.

По сложившейся традиции с новобранцами перед присягой приходил знакомиться генерал-майор Кирпичев. Он расспрашивал, как служит, с какими труд-

ностями столкнулись, сильна ли ностальгия по дому, какие есть пожелания.

К приходу Кирпичева солдат естественно готовили, чтобы показать ум, сообразительность, четкость выполнения команд нового пополнения.

И вот как это происходило.

Молодежь — человек двадцать — рассадили в Ленинской комнате. Присутствовали: командир роты старший лейтенант Исаметдинов, командир взвода старший прапорщик Лукашук и начальник гауптвахты подполковник Терещенко.

Терещенко объяснял:

— При появлении генерала поступает команда от взводного «Взвод встать!» Вы должны быстро и четко встать по стойке смирно, пока генерал не выслушает доклад о происходящем и не разрешит сесть. Затем он начнет с вами беседовать. Каким образом? Показывает на кого-то рукой и говорит: «Вот вы, товарищ солдат...» Что нужно сделать?

— Нужно встать! — крикнул кто-то.

— Во-первых, с места не выкрикиваем. Во-вторых, правильно, нужно подняться, но еще и представиться: рядовой Иванов, Сидорелли, Онищенко. Если все понятно, то репетируем. Вот вы, товарищ солдат, — указал он рукой на солдата, явно выглядевшего старше всех остальных.

— Рядовой Химера, — поднимаясь, представился тот.

— Это, что, фамилия такая? — удивился подполковник.

— Так точно.

— Ну, допустим. Как служитесь?

— Нормально.

— Никто не обижает?

— Никак нет.

— Откуда вы?

— Из Тернопольской области.

— Ну, от Ровно это не очень далеко. Домой тянет?

— Тильки трохи.

— А лет сколько?

— Двадцать четыре. Я закончил институт.

— Ну, вот и отлично. Садитесь. Где-то примерно так. Четко, внятно и громко отвечать. Репетируем еще, чтобы при виде генерала кого-нибудь столбняк не хватил. Вот вы, пожалуйста.

— Рядовой Дураков, — громко крикнул, вставая солдат с лицом очень похожим на Савелия Крамарова.

В комнате заржали.

— Так. Кто-то решил со мной в шутки пошутить. Я чувствую, что это первый кандидат, после принятия присяги, на посещение заведения, под названием гауптвахта. Запомните, товарищи солдаты, что дураков у нас в армии нет и не может быть по простой причине, что нам доверено оружие и сложная техника. И вскоре будут поставлены боевые задачи, которые нам предстоит с вами решать. Для этого и работают призывные комиссии, отбирая в армию самых достойных, умных и крепких.

— Да это его фамилия настоящая! Дураков Владимир! — выкрикнул кто-то с места.

Подполковник уже не стал делать замечания по поводу этого выкрика, а обратился в полголоса к стоящему рядом старшему прапорщику:

— Это, что — правда?

— Да, есть в моем взводе солдат с такой фамилией, — подтвердил Лукашук и захмыкал носом, предчувствуя, что сделал что-то не то, тем более, что это он лично отбирал призывников и вез их в часть.

— Как же его с такой фамилией призвали? — полусшепотом промолвил опешивший начальник гауптвахты.— Хотя это ладно. Вы-то куда смотрели, когда брали его в нашу часть?

— Он такой крепкий юноша. Мне показалось — будет работающим, добросовестным,— стал оправдываться взводный.

— Так. С этим надо что-то срочно делать,— начал соображать Терещенко.— Поставьте его завтра в наряд на кухню или куда-нибудь. Обеспечьте работой и пусть он добросовестно трудится подальше от глаз Кирпичева. Все ясно?

— Так точно!— подтвердил старший прапорщик.

— Садитесь, товарищ солдат. Обращаюсь ко всем. Есть еще кто-нибудь с неприличной фамилией?

Таких не оказалось. Или постеснялись признаться.

Подполковник глубоко вздохнул, после чего продолжил готовить солдат к завтрашней встрече с генералом.

Ровно — Тула

ПОШУТИЛИ

— Мне нужно забежать к одному знакомому,— сказал Николай своим товарищам.— Вы мне билет, пожалуйста, купите, а я подойду к отходу поезда.

За две минуты до отправления Николай ворвался в вагон и отыскал своих попутчиков.

— Ой, ты знаешь, мы заговорились и совсем про тебя забыли и не купили билет.

Поезд отошел от перрона.

— Что же делать будем? Ведь сейчас контролеры пойдут!

— Прячься под лавку, где чемоданы хранятся. Немного неудобно, но ничего — придется потерпеть. Когда проверка закончится, мы тебе скажем.

— Ваши билеты,— обратился контролер к молодым людям.

— Пожалуйста,— протянул листки Олег.

— А третий на кого? — поинтересовался мужчина.

— С нами товарищ едет.

— А где он?

— Видите ли,— вмешался в разговор Степан.— У него свои причуды. Можно сказать — хобби. Он берет билет и, как только заходит в вагон, сразу залезает под лавку.

— Зачем? — опешил контролер.

— Я же вам объясняю — это его хобби.

— Да вы сами можете в этом убедиться,— добавил Олег.

Они подняли лавку. Глаза у контролера округлились, и даже рот слегка приоткрылся. Проверяющий все еще надеялся, что это — шутка. Но, там скрючившись в неудобной позе, действительно сидел человек. Ситуация была до того комичная, что все присутствующие при этой сцене и пассажиры, и Олег со Степаном, и даже контролер не удержались от смеха. Не до смеха было только Николаю. Весь в паутине и мятой рубашке он укоризненно качал головой и прищурился, как бы говоря: «Сегодня вы меня разыграли. 1:0 в вашу пользу, но я вам это припомню. Будет и на моей улице праздник!»

Контролеры уже давно прошли. Наступил вечер. Люди укладывались спать. Но то там, то здесь в вагоне слышался всплеск громкого смеха или тихое хихиканье.



Илья Криштул
(г. Москва)



ЗВОНОК НА РОДИНУ

Валь, привет, королева! Это Ира с Москвы! Как у вас там? Да у нас-то чего... Слушай, я чего звоню, уже извелась прям вся. Вчера с мамкой говорила, представляешь, она говорит — Батуева рожает. Я не могу, говорю, какая Батуева, та, что у рынка живет, что ли, а нас разъединили, связь эта дурацкая. Ты-то знаешь, какая Батуева? Как нет? А чего ты там делаешь-то, если не знаешь ничего? А Маринка не Батуева? Нет? А кто? А-а... Да все нормально у нас, я ночь не спала из-за Батуевой этой... Муж? Да что муж... Идиот. Значит, у рынка все-таки Батуева, если не Маринка. Не рожала она? Черненькая такая, в дубленке? Нет, ну я в полном шоке вся... А кто тогда? А та Батуева, что возле магазина красного? Тоже не Батуева? А может, она фамилию взяла и рожает себе, а ты сиди здесь как дура почему зря! Ты нам звонила? Когда? Мы вчера в кино ходили. Да не знаю я, я всю дорогу про Батуеву эту думала. Да хорошее кино, убили там кого-то в конце. Мужу понравилось, ему-то наплевать, что жена места себе не находит. Сидит вон, идиот. Слушай, ну что ж за Батуева такая... Главное, я ж прошлый год приезжала, помнишь, никакая Батуева никого не рожала... А баба Катя у нас не Батуева? Да знаю, что восемьдесят два, может, решилась абы как... Деньги-то какие дают за второго, а у нее штук десять... Ну не знаю прям, все из рук валится... Приезжая, может, какая, приехала да рожает, а? И Ленка не Батуева? А ты спроси у нее. Вчера видела? Не рожает она? Ну я не могу, я так в больницу попаду, с Батуевой этой... Да что как дела, плохо дела. Муж вон сидит на диване, идиот... У вас там Батуева какая-то рожает, я в шоке вся, а ты «как дела?»! Не могу с тебя, нервов не хватает! Может, учительница новая Батуева? Физрук? А он не Батуев? А жена его? Вдруг она тайком рожает, под чужой фамилией, что б муж не узнал? Нет, надо отпуск брать и ехать. У вас там все перерождают, а вы будете сидеть, как клуши деревенские. Столько дел, но ехать придется. Я эту Батуеву найду. Муж еще идиот, сидит вон на диване, жрать просит. Одна мысль — пожрать, а ты тут хоть обжойся, ему все равно. Верка у нас не Батуева? И у мамки занято весь день, с кем они там болтают... Да какая погода, Валь, тебе поговорить не о чем? Смотри, эта Батуева родит и будет тебе почему зря! Как — тебе все равно? Нет, ну я в полном шоке с тебя! А если б эта Батуева твоим дитем была? Вот-вот, собираешь, что ни попадя, все равно ей... Я, представляешь, вчера харчо готовила, думать стала про эту Батуеву, один рис остался, вся вода выкипела... Этому идиоту дала — не жрет. У него ж забот никаких. Вот если б алкаш какой-нибудь знакомый рожал, тогда что ты — забегал бы! Одно слово — идиот. Сейчас снова мамке набирать буду. Может, ты сходишь до нее? Скажи, что я «скорую» вызвала из-за Батуевой этой! Весь валидол, скажи, вы-

пила почему зря!! Скажи, что она меня в могилу сведет вместе с Батуевой своей!!!

Валь, ну что, сходила? Ну не томи, говори быстрее! Как — никто не рождает? И Батуева не рождает? Нет никакой Батуевой? А баба Катя? Что ж вы меня доводите почему зря, я сутки уже не ем, не сплю! Нет, ну я прям расстроилась вся, представляешь... Только нормально пожила в полном шоке и все, на тебе — никто никого не рождает... И не умер никто? Жаль... Может, хоть посадили кого? Нет, Валь, я не могу с тебя, с тобой и поговорить абы как не о чем... Ладно, пойду идиоту этому харчо впихивать... Как-как, разбавлю водой да впихну. Сожрет, куда он денется, идиот же... Ладно, пока... Если чего узнаешь — сразу звони! У нас-то тут, в Москве, тишина, никаких новостей, если только Медведев куда поедет... Вся жизнь — у вас!

ИНТЕРВЬЮ

Писателя Хвостогринова, автора популярных воспоминаний о своих встречах со знаменитыми людьми, трудно застать дома, в тиши рабочего кабинета. Вот и на этот раз наш корреспондент наткнулся на него в подмосковной Балашихе, на презентации точки по торговле бахчевыми. Г-н Хвостогринов с радостью согласился ответить на несколько вопросов, заметив при этом, что вообще-то он прессу не жалуется.

Корр.: — Г-н Хвостогринов, вы известны читающей публике прежде всего как автор замечательных мемуаров. Вы действительно общались со всеми людьми, о которых пишете?

Х.: — Я не общался. Я с ними дружил. И с Иосифом, и с Никитой, и с Леной... Мы были одна компания, вместе выпивали, дрались, играли в футбол, ухаживали за девушками — тогда это было модно. Я и писать начал только для того, что бы ограждать этих людей от так называемых «друзей», от тех, кто делает деньги на святых именах. В книге «Мой Высоцкий» я много пишу об... не знаю, как их и назвать-то. Например, некто Влади. Да она с Высоцким не была даже знакома, мне Володька сам говорил! Он очень любил меня, ведь я — сейчас об этом уже можно говорить — автор почти всех его песен. И «Баньку», и «Охоту», и... и другие его песни написал я, Володя просто перепел их, я ему разрешил. Он очень тогда нуждался в деньгах. Так же, как и Леннон, об этом я написал в книге «Мой Леннон». Я, кстати, был женат на его сестре.

Корр.: — Почему же вы скрывали это?

Х.: — Причины я раскрыл в книге «Мой Есенин». Сейчас об этом уже можно говорить, — я ведь очень много стихов подарил Сережке, и про пальцы в рот, и чего-то там про живую старушку и... и другие его стихи. Мне не жалко, а он очень тогда нуждался в деньгах. Молодые мы были...

Корр.: — Но ваше имя практически неизвестно широкой публике...

Х.: — Недавно я написал книгу «Мой Ленин», там я как раз размышляю над этим. Ильич многое дал мне, но в первую очередь он научил меня скромности. Я в долгу не остался и — сейчас об этом уже можно говорить — еще в марте надиктовал ему «Апрельские тезисы». Он очень тогда нуждался в деньгах. Нас познакомила Крупская, я в то время был женат на ее сестре.

Корр.: — С кем еще вы были знакомы?

Х.: — В книге «Мой Пушкин» я пишу об этом. Ван Гог, Чайковский, Булгаков, Шаляпин, Марadona, Фишер... Мы были одна компания, вместе выпивали, дрались, играли в футбол, ухаживали за девушками — тогда это было модно. Петя Чайковский, правда, этого не знал и ухаживал за мальчиками, сейчас об этом уже можно говорить. А в футбол лучше всех играл Ван Гог, однажды в пылу борьбы ему даже оторвали ухо... Помню, как я учил Фишера играть в шашки — он потом, и это из-

вестный факт, стал чемпионом мира... А как гениально Шаляпин пел сочиненные мной романсы — и «Баньку», и про пальцы в рот, и... и другие знаменитые мои романсы... Я в то время был влюблен, посвятил любимой девушке стихотворение «Я встретил Вас...», Сашка Пушкин увидел, выпросил... Или это был Коля Гоголь... Они очень тогда нуждались в деньгах. Молодые мы были...

Корр.: — А много книг вы написали?

Х.: — Да, и об этом я рассказал в своей книге «Мой Наполеон». Мы ведь дружили с Боней с детских лет, много разговаривали, спорили... Я как-то сказал ему, что стану писателем и стал, а он метался и — сейчас об этом уже можно говорить — хотел стать то ли кинологом, то ли киноведом... В общем, чего-то медицинское. Помню, как я отговаривал его идти войной на Россию... Чем закончился этот поход, можно узнать из моей книги «Мой Кутузов». Наполеон, кстати, всегда нуждался в деньгах. Я был женат на его сестре.

Корр.: — С Кутузовым вы тоже встречались?

Х.: — Да, с Мишкой мы были, как в поговорке — «не разлей водка». Сейчас об этом уже можно говорить. Я звал его «адмирал Нельсон», уж не знаю, почему. Когда я рассказал об этом самому Нельсону, он очень смеялся, хотя постоянно нуждался в деньгах. Молодые мы были...

Корр.: — А сколько раз вы были женаты?

Х.: — Много. Об этом я пишу в своей книге «Моя д'Арк». У нас была огромная, всепоглощающая любовь, но она — и сейчас об этом уже можно говорить — трагично оборвалась, сгорела... Я не виню Жанну, это были счастливые годы, но, мне кажется, она больше нуждалась в деньгах, чем во мне. В книге «Моя Клеопатра» я более глубоко раскрываю тему женского предательства. Кстати, после смерти Клепы я женился на ее сестре.

Корр.: — А над чем вы работаете сейчас?

Х.: — Я пишу книгу «Мой Христос».

Корр.: — Вы...

Х.: — Да. Я был женат на его сестре. Молодые мы были...



Тамара Дик
(г. Алексин)

КАКОГО ЧЕРТА ТЫ ПРИШЛА



Марина проснулась от резкого и настойчивого звонка в дверь. Предположив, что это кто-то из ее детей, она быстро накинула халатик и прошлепала босыми ногами к двери. Звонok повторился. Так настырно звонили только дети. Им всегда было некогда, всегда они куда-то спешили и забегали к матери лишь на минутку. Но, распахнув дверь, Марина неожиданно увидела перед собой Дину Сергеевну. У Марины даже занемел рот, открывшийся для приветствия. Приветствия не вышло, и она растерянно отступила назад, впуская в прихожую нежданную гостью. «Какого черта пришла эта фифа?! Что ей надо с утра пораньше?» А она-то, наивная, подбежала, открыла и даже в зеркало не посмотрела, как выглядит после ночи. Ну конечно же, лохматая, босая, наскоро накинутый халат, из-под которого торчит ночнушка. Марина непроизвольно пригладила назад волосы и потуже запахнула халатик. Она пыталась понять, что же надо этой женщине? Наверное, пришла ругаться? Но Дина Сергеевна приветливо улыбнулась, и в ее черных, глубоких глазах появилось что-то таинственное, невысказанное. Марине не хотелось, чтобы эта женщина у нее здесь плакалась или ругалась. А то еще хуже: будет кричать на весь дом, раздувать из мухи слона. Что ей надо? Ведь ничего же не было! Но какой-то бесенок изнутри напомнил, как она была равнодушна к мужу Дины Сергеевны, когда они на Петров день гуляли с коллегами на даче. Чертов бесенок напомнил, что и Виталий тянулся к ней, где-то даже не скрывая этого. «Значит, эта фифа что-то усекла или почувствовала и вот пришла разбираться». Ощувив, что стоит на холодном полу, Марина переступила с ноги на ногу и, заставив себя улыбнуться, выдавила костяным языком:

— Вы, Дина Сергеевна, проходите в комнату, присаживайтесь в кресло, а я чай поставлю да малость себя в порядок приведу.

— Да, да, не беспокойтесь, я уже прошла,— расположившись в кресле и осматривая комнату, женщина добавила:

— Чай — это хорошо... Божественный напиток.

Марина поняла, что если гостья не отказалась от чая, то разговор должен быть долгим. И снова бесенок толкнул в ребро, что это все за ее нечистые мысли, за ее фарс. Ишь, замахнулась на чужого мужика! Вот сейчас она за все и ответит. Нет, ни за что она отвечать не будет. Между ней и Виталием ничего не было! Они просто давние старые друзья. Ну, разговаривали, ну, смотрели друг на друга. И все-таки: «Зачем она пришла? Что медлит?» Марина быстро стянула волосы на затылке, выпустив на лоб забавную челочку, нанесла на лицо минимум макияжа и, довольная, что она не хуже этой фифы, поспешила собрать на стол. Чай пили в комнате за журнальным столиком. К счастью, у Марины остались сладости, и цела еще была вазочка с фруктами. Понимая, что в грязь лицом не упала, что все оказалось на высшем уровне, Марина чувствовала себя перед гостьей смелее и увереннее.

— Может, винца понемножечку, а?

— Нет. Мне нельзя,— тихо ответила Дина Сергеевна.

«Ах, ей нельзя! А что ей можно?» Еще на даче Марина отметила, что жена у Виталия симпатичная, но уж очень худая. Но с другой стороны, и фигурка есть, и грудь присутствует.

— Божественный чай,— проговорила гостья, отпивая из чашки маленькими глоточками.— Спасибо, Марина Владимировна, просто замечательный чай.

А Марина подумала: «Не чай же ты пришла дуть, черт побери! Ну, выкладывай же, наконец, зачем пришла?» Но гостья не спешила, смаковала маленькие глоточки чая и чему-то улыбалась, а когда поднимала глаза на хозяйку, огромные, черные, которые из своей бездонной глубины выплескивали такую тоску и обреченность, то у Марины леденело все внутри. «И что она такая? Все ведь у нее есть: и квартира, и дача, и дом за городом. Сын женился, отдельно живет. Муж бизнесмен, бешеные бабки приносит. И чем недовольна? А если ко мне претензии какие, то мне ее муж не нужен, я женатых мужиков не совращаю. Чужого мне, хоть убей, не надо!» Но бес изнутри снова напомнил Марине, как на даче, случайно оставшись вдвоем, Динин муж молча взял ее руку и нежно поднес к своим губам. Она не противилась этому, только не знала, куда деть глаза. Смущаясь, Марина то устремлялась взглядом вдаль, где за резными макушками леса садилось солнце, то осматривала на столе наполовину съеденное кушанье, то опускала взгляд в наполненный шампанским бокал. Да, конечно, Виталий ей нравился, чем-то притягивал, обвораживал. Может быть, в какой-то прошлой жизни они были знакомы, или их сближал один и тот же знак зодиака? В этот вечер они просто разговаривали, шутили, а оставшись одни, замолчали. Марина высвободила свою руку и, склонив голову, стала рассматривать ее, будто бы Виталий не поцеловал, а поранил. Все тот же бес напомнил Марине, как в тот тягостный момент, она порывалась сама обнять Виталия, но где-то здесь была его жена с черными, как омут, глазами, и надо было сдержаться. «Быть может, она колдунья? И сразу поняла, что к чему? Только у колдунов и ведьм бывают такие глаза. Поэтому она сегодня здесь, чтобы защитить достоинство своей семьи и прочитать мне нравоучение, а может быть и набить морду. Только что-то эта мадам не торопится».

— Хорошо у вас, уютно, глаза отдыхают,— продолжала гостья с какой-то печалью и медлительностью.

— Да что вы! Бросьте! Теснота, старая мебель.

— Все равно уютно. Высокие цветы, столько зелени... это так экзотично смотрится.

А Марине вспомнилось, как Виталий снова взял ее руку и прикоснулся сухими, горячими губами. Тогда она все-таки прижалась к нему и услышала учащенное бие-ние сердца. И тут же замерла, испугавшись чего-то, будто воровала, забирая самое дорогое, самое нужное. И эти сухие губы, и стук его сердца забирали ее изнутри. Со-сало под ложечкой, кружилась голова и, то ли от выпитого вина, то ли от чего еще, подкашивались ноги.

— Я люблю цветы, вот и выращиваю,— опомнилась Марина, заметив, что гостья договорила последнюю фразу и с интересом смотрит на нее.— Я их обожаю.

— Я тоже люблю цветы,— мечтательно отозвалась Дина Сергеевна и, опустив глаза, добавила,— я хочу, чтобы на моей могиле всегда они цвели.

Марина от неожиданности выронила чайную ложку. Она зазвенела, зацепив блюдце, и упала на пол.

— Ну что вы! Нам до этого еще далеко. Давайте чаю еще налью. Берите конфеты, зефир... Совсем ничего не едите...— засуетилась хозяйка дома, точно ее ударили тугим кнутом.

«С чего это она про могилу заговорила? С ума сойти! И какого черта она пришла? Что у меня своих дел нет, как только с ней сидеть чаи распивать».

— Марина Владимировна, вам нравится мой муж? — последовал конкретный вопрос, озадачив хозяйку еще больше. Но собеседница говорила об этом спокойно, разворачивая конфету, словно речь шла не о муже, а о какой-нибудь незатейливой вещице.

«Опа! Вот оно началось! Что ответить? Что она так смотрит? Как рентген, до самых печенок. Точно ведьма! Но надо что-то ответить этим колдовским глазам. Надо же! И слов подходящих нет».

— Дина Сергеевна, а фрукты-то кушайте...

— Вы не ответили на мой вопрос. Вам нравится Виталий, мой муж?

— Что ты, Дина! — переходя на «ты» и опуская отчество, повысила голос Марина.— С чего ты взяла!

— Знаю, нравится. Виталий не может не нравиться. Он всегда имел успех у женщин.

— Не... не...

— Я его тоже очень люблю.

— Н-не понимаю, зачем вы о нем? К чему все это?

— А что тут понимать? У меня большие легкие. Я умираю и хочу оставить вам своего мужа. Так мне спокойнее будет.

— Ты... ты... что, подруга, свихнулась?! Надо же такое придумать? — заикаясь и не владея собой, Марина вскочила на ноги.

— Да вы садитесь. Нельзя же так вспыхивать. Точно так же взорвался и Виталий,— и когда хозяйка снова присела на краешек кресла, Дина продолжала ровным, спокойным голосом:

— Врачи сделали все возможное, но результаты неутешительные. В лучшем случае, мне осталось несколько месяцев.

Гостья спокойно и хладнокровно смотрела на хозяйку дома. Черные глаза ее были непроницаемы. В них уже не было ни тоски, ни горести, ни уныния. Все скрылось в черном омуте колдовских глаз.

— Но...— Марина попыталась что-то возразить, как-то опровергнуть страшные слова собеседницы и, не найдя нужных слов, опустила голову.

— Я хочу, Мариночка,— все так же спокойно говорила гостья,— чтобы вы с Виталием были счастливы, как была счастлива с ним я.

— Но... но...

— Это моя последняя воля. Прощайте,— Дина Сергеевна поднялась и быстро направилась к двери.

Марина сидела подавленная и опустошенная, не в силах остановить гостью. Она, было, встала, подалась вперед, чтобы задержать Дину, обнять, прижать к себе ее худенькие плечики, но как это сделать, она не знала. Отяжелевшие ноги не хотели слушаться. «Какая она сильная, выдержанная. А я-то ее фифой называла!..» В прихожей захлопнулась дверь, и Марина осталась одна в надвинувшейся щемящей тишине, не в силах сойти с места. А за окном качали высокими верхушками тополя, доносились детские голоса, светило жаркое летнее солнце. И опять противный бесенок хохотнул изнутри: «Ну что же, бери, Мариночка, как подвезло! Тебе отдают Виталика! Бери же, бери!» — ехидно подначивал бес. Марина больно закусил губу, аж до крови, чтобы противный бес там, внутри, заткнулся. Она так не может, она так не хочет. Это не правильно! В ушах набатом звенели последние слова Дины: «Я хочу, чтобы вы были счастливы... были счастливы... были счастливы...» Слезы предательски подступили к глазам. Она хотела смахнуть их, но, не сдержавшись, разрыдалась, упав в кресло. Сквозь слезы она, как ненормальная, срывая голос, закричала, глядя на захлопнувшуюся дверь:

— Какого черта ты пришла!!!

Илья Луданов
(г. Узловая)

ПУТЬ



Имеет высшее экономическое образование (НИ РХТУ им. Менделеева; ф-т «Экономика и управление»). Работает корреспондентом отдела новостей в ТК «Каскад» г. Узловая. Печатался в сборниках авторов местного значения. В Интернете можно найти в журнале «Органон», в интернет-журнале «Пролог». Состоит в интернет-сообществе портала «Что хочет автор», «Проза.ру». Издался в сборнике «Лауреат 2008» конкурса «ЗПР». В 2008 г. стал лауреатом литературного конкурса «Золотое перо Руси» (серебряная фарфоровая статуэтка в номинации «Интервью» за произведение «Ясный день»). Летом 2009 года выпустил сборник произведений «Ясный день».

Я проснулся с восходом солнца. Потом, открыв глаза, долго смотрел в окно. Я видел как за лесом медленно, но грациозно разгорается рассвет, небо становится ярче, как оттуда, где минуту назад ничего не было, исходит все больше света, пока диск солнца цвета жизни, не показался над верхушками чернеющих на его фоне деревьев.

Тогда я встал. Разогрев воду, заварил чаю, а потом, сидя на пороге дома в тишине рождавшегося дня, наблюдал, как все вокруг, вот-вот выйдя из тени, только и ждет первых лучей, что осветят этот мир, давая жизнь, пил горячий чай и думал. О своем — и обо всем.

Мне чего-то не хватало. Чего-то не сразу заметного, даже не видимого, но очень для меня важного. Без этого я не чувствовал свою цельность, будто часть меня была еще где-то, но звала к себе, и я очень, больше всего на свете, хотел найти ее, ощутить, что я — человек, и у меня есть все, что должно быть для жизни. Это, чего не хватало, было моим другом; оно, чувствовал, звало и вело куда-то, где я не был, где ничего не знал, но понимал, что чтобы получить недостающее, ощутить его в себе, надо обязательно пойти туда, и видел, что, оставаясь на месте, я останусь тем, кто я есть сейчас — со своими мыслями и своим будущим, и даже, как будет казаться, может быть, буду счастлив, но потом, когда уже мое время пройдет и я снова останусь один, пойму, что я не тот, кем хотел быть, я не то, чем желал себя видеть, потому как во мне чего-то не хватает — оттого что я раньше, когда мог, а главное — когда желал, не пошел тем путем, куда звала душа для того, чтобы обрести всего себя.

Как хорошо, подумал я, что я понял это сейчас, когда все впереди, и время будто есть, и я все могу. Надо было спешить, тянуло меня сильно, но я не торопился. Взбодрился холодной водой, вернулся в дом, решая, что же взять с собой.

Солнце окончательно поднялось, осветив все вокруг. Потеплело. Роса высыхала на глазах, когда я вышел из дома почти в таком же виде как когда сидел на пороге, лишь сменив обувь и взяв на первое время воды. Я не взял с собой ни вещей, ни оружия. Я знал, что должен вернуться и не собирался ни с кем воевать. Смысл моей

жизни был правдив и прост. Я хотел мира и знаний. И лишнее мне было ни к чему. Уходя, я дал себе слово, что надо обязательно вернуться к вечеру, до того как солнце скроется за другим краем земли и вокруг снова станет темно.

Когда ворота старого, мною же бесцельно заброшенного дома остались позади, мне вдруг стало не по себе — первый раз в жизни я уходил из дома. С каждым шагом становилось все страшнее, я все больше сомневался в том, стоит ли мне идти, и не лучше ли все оставить как есть. Не так уж все плохо и было, даже хорошо — тихо и мирно, и не остаться ли тем, кем я был, ведь таким я родился, и не мог вот так сразу себе сказать, зачем мне куда-то идти и почему надо изменяться, обретая что-то новое, чего мне вроде как не хватало. Но чувствам и мыслям хотелось большего и лучшего, и именно поэтому я назывался человеком.

Сомнения же не оставляли, и я даже чуть было не повернул обратно, стоя на пригорке, перед тем как повернуть за угол и потерять свой дом из виду. Но что-то тянуло, что-то звало и, хоть и вернуться было так легко и — знал — будет мне дома снова хорошо и тепло, я увидел, что тогда ничего не изменится, и я, оставив все как прежде, со временем почувствую, как дом мой станет для меня уже не тем; увижу, как он будет стареть, трещать и осыпаться, пока я тихо не уйду из него, став здесь совсем чужим, и не понимая, что он есть для меня. Представив все это, я отвернулся от дома и еще решительнее, еще смелее, хоть мой страх и остался со мной, повернул за угол и пошел.

Сначала было весело: светило солнце, пели птицы, дорога была прямая и даже чуть под гору, и будто сама толкала меня вперед, и я удивлялся тому, как все хорошо получалось, думал, что ничего страшного в этом нет и что так теперь и будет, и что я, найдя в себе силы уйти из дома, в награду за смелость получу ровную, до горизонта видимую дорогу без поворотов, прямую как стрела, и путь мой будет полон радости, и я получу все, чего хочу.

Так думал я пока не заметил, что солнце над головой светит не так уж ярко, да и дорога идет в гору. Впереди показалась полоска темной зелени, и скоро я стоял на опушке леса, в тени первых деревьев и смотрел на уходящую в темноту леса дорогу. Я подумал, что это как-то неправильно, не так как я представлял себе линию судьбы нового дня, и тут понял, что далеко не на многое я сейчас влияю, и правлю моей судьбой не я сам, и что здесь я по-настоящему один, даже если бы был в толпе таких же, как и я, и что вижу совершенную ошибку: я смотрел на свою дорогу под ногами, радуясь солнцу, что светило над головой и надеялся на лучшее, совсем потеряв из виду вопрос, куда ведет и куда может привести меня моя дорога. И теперь в совершенной растерянности я стоял перед темнотой неизвестного леса и не знал, как мне быть дальше и что делать. Снова сомневался и чем больше страх разрастался во мне, думал: а не остаться ли хотя бы здесь, здесь еще светло и вокруг хоть что-то видно, и там ли, во тьме, то, что я ищу и, может, это совсем не та дорога (больно уж внезапна и неприятна становится), по которой мне надо идти, если я уже раньше, только под ноги себе смотря, мог сбиться с пути?

Но тут я понял, что не знаю что делать, потому что делать нечего. Где я есть — там я и есть, и теперь не важно, сам ли я пришел сюда или меня привела судьба, но что есть, то есть, обратно не повернуть, время прошло, и надо идти. Стоя, я теряю свое время, а еще ни до чего не дошел, и дорога у меня теперь одна — вот она, впереди, и куда бы я не шел — все не зря, все мое, и надо верить — к лучшему, все всегда что-то даст, что-то свое принесет, нужное и неповторимое, и может быть, это и окажется тем, что мне нужно, или я когда-нибудь пойму, что искал именно это, а просто не знал того сначала, не было у меня опыта видеть.

В лесу было тише, и птицы пели другие и где-то далеко. Лишь на опушке с соседнего с дорогой дерева сорвалась сорока и диким криком оповестила лес о моем приходе. Хотя лес, казалось, об этом уже знал. Здесь было страшно, я ничего не по-

нимал, мало что видел, но с первых же шагов стало очень интересно и загадочно. Старая дорога часто петляла между массивами леса, все куда-то поворачивая, и часто, свернув, я уже не видел места где только что был. Я знал, зачем я иду, но не знал, куда иду и лишь догадывался, где нахожусь.

Лес, обступив, поглотил меня, и хоть с виду места все время менялись то березами, то соснами, то дубравой, все здесь было наполнено царившим вокруг влажным древесным духом, и я скоро привык к нему. По ходу своего пути я свыкся с темнотой и тишиной, с внезапностью поворотов, резкими короткими звуками леса и манящей неожиданностью дороги. Даже больше: со временем я стал ловить себя на мысли, что начинаю понимать эту темноту и тишину, ощущать застывшее время и сам ход дороги, да и вообще — весь лес в целом, и могу объяснить себе, зачем это все здесь, так как оно есть, что я здесь и к чему иду. Я не знал, куда иду, но чем больше шел, тем лучше представлял себе место, куда должен прийти и даже будто узнавал его черты.

На пути встречалось очень многое и разное, и я никогда не угадывал — что, хоть и знал, что что-то быть должно, но чем больше изучал, познавал, тем больше понимал, и видел пользу и для себя, и для мира в каждом встречном дереве или кустике, бугре или яме, в любом порыве ветра или случайном и редком луче солнца, вдруг пробившемся через потолок листвы и на миг осветившим дорогу впереди. Я понял, что все здесь не зря, все это здесь было очень давно, все имело скрытую силу и истинные знания, и учило меня, когда я приходил к нему. Я только должен был хотеть ощутить и понять. Во мне должно было гореть желание дышать жизнью. И тогда я постигал.

Уверенно проложенная кем-то ранее дорога в поле и лесу, сворачивая и петляя, стала все больше зарастать, до меня пробитые стопами и колесами колеи исчезали, и скоро трава все окончательно скрыла, и я теперь ориентировался лишь по прорубленной в лесу просеке. В один момент дорога, постепенно исчезая в траве, растворилась в лесных зарослях и больше не подталкивала и не направляла меня, а я, не в силах вернуться, все шел, пока хоть как-то, по каким-то приметам и следам людей было куда идти.

Но вот впереди показался просвет, и я вышел на большую лесную поляну всю поросшую колючей малиной. И сразу заметил, что дальше поляны прорубленной просеки в лес не было, как не было дальше и никаких следов. Проложенная ранее старая дорога кончилась. Но пути назад не было, легко и потеряться и запутаться, и надо было либо оставаться здесь на поляне, где было и солнце, и тепло, или идти дальше в лес, где я ничего не знал, в еще большую темноту и неизвестность, туда, куда меня что-то, но уже тише чем раньше, тянуло, и где должно было быть то, чего мне не хватало.

На поляне было хорошо, и я присел отдохнуть. Только пить хотелось, а вода, что я взял с собой, заканчивалась. Я набрал горсть сладкой малины в рот и, разжевывая ягоды, зажмурился от удовольствия. Ягоды были в самом соку и придавали силы. Среди бушующих раскидистых кустов я вдруг наткнулся на большой, старый и гнилой пенек. И тут понял, откуда среди таинственного леса взялась эта светлая, греющая и полная сладкой малины поляна, на которой заканчивалась дорога. Это была огромная старая вырубка. Годами люди на тракторах и машинах, визжа пилами, валили здесь лес, обрывая рост вековых громадин и прочищая себе дорогу срезом тонкого молодняка. Потом люди ушли, и время стерло их следы. Остались только диски старых пней от тех деревьев. Среди них молодой лес разрастался очень неохотно.

На этом лесном кладбище теперь было так хорошо. На сколько хватало глаз, надо мной было единственное место в лесу, где светило солнце, грея прямыми лучами тело, и от этого окружающие края леса казались еще темнее. От уже некоторой усталости я прилег отдохнуть и немного разомлел на солнце, сидя на мягком, приятном и сухом мху.

Через некоторое время очнулся и сказал себе, что вот уже сколько прошло, солн-

це в зените, и скоро начнет склоняться к западу, а я еще не только ничего не нашел и не обрел, но даже не догадывался, что же такого, самого на всем белом свете нужного, мне найти надо.

Тогда я протер глаза, огляделся, встал и снова вошел в тень леса.

Стало еще тяжелее: никакого подобия дороги не было и в помине, все поросло самыми густыми, какие я только видел, совершенно невообразимыми зарослями, через которые надо было со всех сил пробираться, обдирая руки и царапая лицо. Было очень жарко и душно, с меня ручьями катил пот, и страшно хотелось пить. Со всех сторон приставали вечно голодные комары-кровососы, а чуть ли не на каждой ветке висящая паутина лезла в лицо, отвратительно прилипая к коже.

Так я продирался, двигаясь по ровной местности, но тут, когда кущи резко исчезли, и я было обрадовался концу мучений, вдруг почувствовал как куда-то проваливаюсь, даже лечу, и покатился вниз с крутого склона по крапиве и кустам.

Очнулся я на дне глубокого оврага в хлюпающей грязи, проклиная тот миг, когда решил вообще куда-то идти, и понял, что еще никогда не оказывался в таком гадком и низком месте.

Кругом было гадко, и вокруг ползали одни гады. Стало страшно, страшно при мысли, как я, всегда себя высоко держащий в прямом смысле, скатился так низко, и стыдно перед собой за ту наивную радость, когда увидев в стене кущей просвет, я, ни о чем не думая, ненужно торопливо рванулся вперед. Никогда я себя так плохо не чувствовал, но как человек многие годы мыслить себя заставляющий, вдруг... заинтересовался.

Интересно, подумал я, как ты, ко всему, казалось, готовый, по виду — далеко идущий, и по паспорту — самостоятельный, считающий себя вполне взрослым для того, чтобы идти в лес, поведешь себя здесь, как справишься, что победишь или перед чем-то сдашься, что придумаешь или чему ужаснешься, а главное — выберешься ли? Так что же делать?

Во-первых — встать!

Лежа в кустах в болоте на спине, я ощущал лицо и увидел на ладони вязкую смесь черного и красного — крови и грязи. Потом повернулся, оперся рукой на землю и привстал на колени. перевел дух и немного огляделся, насколько хватало глаз. Вокруг было очень тихо, и ни единый кустик не шелохнулся. Тогда я сделал еще одно, сложнейшее сейчас и такое легкое в обычной жизни усилие и, вздохнув и вздрогнув, встал на ноги.

Почувствовал себя слабым, грязным, больным, но живым и все же свободным. Увидел впереди струившийся тонкой лентой ручеек, растекавшийся под ногами в лужу грязи, и пошел по низу оврага, вдоль ручья.

Чуть пройдя, увидел бьющий в стороне из-под земли родник, нагнулся, и стал долго и жадно пить. Полегчало. Ноги крепче стояли на земле, и я пошел быстрее и увереннее. Идя вдоль потока воды, я должен был хоть куда-то прийти и, правда, в конце концов, вышел к небольшому лесному озеру. Воды в этом озере было хоть и много, но от застоя она вся испортилась, покрылась ряской и травой, и эту воду не то что пить, но даже мыть руки в ней было противно.

Озеро находилось как бы на дне огромной чаши. От всех ее берегов вверх шли крутые склоны подъемов и, чтобы продолжить путь, надо было обязательно карабкаться по склону наверх. Не то чтобы выбора совсем не было, но любой из вариантов был подъемом: положе или круче, но тут хоть деревца, не колючая малина, не жгучая крапива и не склизкая почва под ногами, да и посуше кое-где, и коренья. И не обойти, и назад никак — еще там, в овраге поклялся не возвращаться, пока не поднимусь — и думать, думать надо, на какую кручу карабкаться. Тут не ошибиться надо, тут возможностей не так и много, тут упал, так второй раз можно и не подняться —

силы человеческие не бесконечны.

Но подкупила все же пологость справа: не так круто, и хоть и трава, не ветки, но того же света как будто больше. И я полез. Все силы собрал и полез, только не остаться бы, только бы не в болоте, только б без жижи под ногами, там где нет вони, не вместе с гадами ползучими, не среди уродов. Вон сколько их тут: и не все, вроде, мерзкие, а глаза — скользкие, предательски холодные. Этим гадам болото их кажется центром мира, прекраснейшим местом на Земле; им и света не надо — хладнокровным, они на солнце ссыхаются, задыхаются, свет их слепит. Но я-то болото от чистого поля и свежего ветра, слава богу, отличаю, а потому — лезу, карабкаюсь, руками землю загребаю...

Но просчитался, не угадал. Не земля подвела — за стебелек маленький, полусухой схватился, на неживом — доживающим — удержаться решил, и слету — вниз снова, в болото, в грязь, к гадам.

Как очнулся и не помню, вода видно в нос затекать стала, дыхание, на вздохе, прервалось, тут уж не сила, сама жизнь на дыбы встала, взбунтовалась, и рывком вытащила из воды, на берег, на склон, и руки и ноги шевелиться заставила, а голову — думать.

Полежал, пришел в себя, снова встал. Подумал, что просто повезло: как головой не на камень, как не захлебнулся, как на ноги встать смог?..

Но встал, вдоль по берегу прошелся, гадов, шипящих и трещащих, послушал, и даже смешно стало над собой; нервический такой смешок. «Дурак ты, — говорю себе, — что ж ты, простак, полез туда где ниже? Лезть-то надо туда, где ухватиться есть за что».

К другому склону подошел, вверх посмотрел — и высоко, и круто, но и деревца, и веточки, и корни торчат из-под земли — как-никак помощники верные мои. Но и тут не сразу полез, присмотрелся, как лучше ногу куда поставить, за какой корень старой рукой зацепиться, за какую ветвь ухватиться, как ползти лучше — не по прямой оказалось, а извилисто надо. Даже наверх прямой путь оказался не всегда верен.

Не было бы внизу болота, махнул бы не глядя, а тут и так сил нет, и время заканчивается — кто знает, сколько у меня времени осталось? А тут идти надо, не сидеть. Хорошо это слишком — сидеть, заснешь тогда среди мерзости, в болоте; так можно и не проснуться.

Одну руку сюда, ногу вот здесь, шаг за шагом, метр за метром, в землю вжимаясь, света не видя. Тяжело, боже, как же все так тяжело! Кто бы мог подумать? Я себе и представить не мог, как страшно и тяжело может быть. Кажется, никогда это не кончится, и ты вот сейчас не выдержишь. Особенно один. Гады болотные вокруг одни только.

Снизу смотрел — высоко было, когда лез впереди ничего не видно, да и сил не было смотреть, а только думал, как еще шаг сделать, продвинуться как. И не заметил, как подъем кончился, и вот я вдруг и сам наверху, на ровном светлом месте сижу, руки и лицо об траву вытираю, и — дышу, дышу чистым, свежим, ароматами цветов и лесных смол, пропитанным воздухом. Как же хорошо! Руки не двигаются, ноги от усталости не ходят, но как же хорошо после подъема, после грязи всей этой, подняться и вздохнуть, лечь на землю и смотреть на небо, сил для дальнейшего набираясь!

Сколько лежал, не помню, не до счета времени было, но как встал с облегчением, как только вокруг посмотрел, так и понял, что понятия не имею, где нахожусь, совершенно не представляю, куда идти, и так устал, так вымотался и столько всего насмотрелся, что теперь хочу только одного — домой.

И уже не до чего, не до того, что было, и не до того, что так искал и обрести хотел, дела не было, а только до дрожи жутко домой хотелось, в духом Родины пахну-

щие места, к той земле, от которой тепло, к тому ветру, что так свеж, к зеленой траве, к чистой воде, к жаркому огню, к уюту дома, к месту, где я был самым собой, где всего хватало, и ничего не надо было, и где я видел себя свободным и счастливым.

— Господи, вот оно, вот! — сказал я себе. — Что же это я раньше до этой простоты не додумался? Все время о чем-то себе думал, все какие-то вопросы и проблемы решал, все кого-то слушал и с кем-то спорил, а самого главного и такого ясного не понимал! Как же это я?

И что же теперь? Не знал зачем и к чему идти, но чувствовал куда мне надо, и шел, и ноги несли... Куда идти — знаю, зачем — понимаю, а идти не куда, вокруг все — одно, все массивы, все деревья, все места, и сторон света я не вижу здесь. Я долго стоял и думал. Только не вниз и не вверх мне, не сидеть и не кружить, прямо идти надо, только прямо, и ни за что не сворачивать, четкий вектор должен быть. И дорогу искать надо, если сам не знаешь куда идти. В лесу любая дорога куда-нибудь выведет. А дорог по склонам и по болотам нет. Только по земле. Значит, прямо — просто прямо.

Вслух себе повторил, подтвердил, и пошел. Снова кущи густые, сушняк, бурелом, но проходить теперь их легче, я уже знал, как здесь надо идти, как с крапивой обходиться, как за колючки не цепляться. И комары кусали и мошка в глаза лезла, и паутина липла, но насколько теперь это было легче, когда привык этому, что и внимания почти не обращал... И шел все быстрее, и хоть и дороги не было, не малые расстояния пересекал, единое направление находил по стволам деревьев, по длине ветвей, а главное, чутьем, знаниями, что обрел, и опытом, что пришел ко мне со временем. Овраги переходил по стволам упавших деревьев, по лесу шел как можно тише. И прямо, не сворачивая, по заданному себе направлению.

А как сомневался! Сколько гадал: не ошибаюсь ли? Как свернуть хотелось туда, где лес реже, где казалось просветов больше. Но чувствовал, не скоро еще конец леса, не конец еще моему пути, и не так вот тебе все и сразу. Дорогу найти ты еще должен. Не видел я ее и не знал, есть ли она и где, но верил, что должна быть, не может ее вот так просто не быть, не для того я столько прошел, столько в себе и для себя открыл, чтобы теперь заблукать здесь и погибнуть среди нескончаемых деревьев и кустов. Не справедливо это, не по той, высшей, справедливости... Польза еще должна быть, если жив.

И вышел. Не увидел, а просто света вокруг стало больше и под ногами земля тверже. Хорошая дорога — проезжено, протоптано. И повеселело, полегчало, понял, что не зря все, все для дела.

Идти вот только куда? «Никого слушать не буду, — решил себе строго, — довелись, добегались, допрыгались... ни на какой луч света или тень впереди не куплюсь! Нагляделся, набродился! Себя слушать! Только себя! Свой голос, голос божий внутри. Ни на что внимания не обращать, тут и свету и солнцу доверия нет, столько фальши!»

И повернул. Не куда-нибудь, а так, просто, куда захотелось, где самому показалось. И пошел, не быстро и не медленно, как самому лучше было, чтобы все узнать, важное понять и нужное запомнить.

Вспоминал я теперь, что и учили, и говорили, и даже читал я об этом, и ощутил, и внял, и помогало во многом, но вот в самом главном, пока сам носом не ткнулся, в кровь пока не разбился, не ошибся, не упал, а потом не поднялся, не увидел, где свет, а где тьма, где дьявол, а где ангел, где ложь, а где правда, где истина моя — ничего так и не понял.

И шел теперь к счастью, к идеалу, где все — оно. Без вмешательства со стороны, без влияния извне. Без отклонения, без предпочтений, без привычек и без подчинения. Свободным в окружающем мире и с верой внутри. Мне не надо было как-то ид-

ти, с кем-то и в чем-то быть согласным, чтобы шел я туда, куда хотел. Внутренне я был с собой, и в этом была вся правда. Правда была в свежем ветре, в синем небе, в теплом солнце; в простоте и смысле; в душе и разуме.

Скоро, и снова для себя неожиданно, я вдруг вышел из леса. Впереди до горизонта стелилось чистое поле, и я, задохнувшись от этой чистоты пространства, побежал по нему. Невдалеке, на самом пригорке, рукой подать, я увидел мой родной дом. За ним, выводя контуры крыши и стен, садилось солнце. Я смотрел на мой дом за сегодня уже второй раз, но теперь совсем другими глазами.

Немного пройдя вперед, я оглянулся на лес. Верхушки крон краснели на закате. В глубину леса уходил неизвестная темнота. Я сказал ему «спасибо». За все: за грязь и рвань, за падения и подъемы, за острые камни, за втягивающее болото, за темноту и за тишину, за редкий, но сладостный луч солнца сквозь ветви, за родник воды среди непролазных, неизвестных кущей... Ты был строг и суров, но ничто большему меня не научило, чем твоя вопрошающая, требующая неизвестность. И за это — спасибо тебе. Тихое, ясностью отвечающее спасибо.

Я смотрел на дом перед собой и шел к нему. Никогда я не чувствовал себя лучше. Сколько же надо пройти, чтобы научиться дышать? Сколько понять, чтобы почувствовать вкус свободного ветра на губах? Всем существом своим ощутить наличие в жизни смысла? Не понять, не узнать его — почувствовать!

И не важно, сколько шагов до дома, что передо мной — я уже видел себя в нем. Видел, как подхожу к стареньким воротам, как рукой земли касаюсь и чувствую тепло этой земли.

Я дома. Наступил вечер и я вернулся. Успел. Чувствую тепло моей земли, дыхание знакомого ветра, кожу ласкает приветливый луч солнца на закате. Много в этом дне было, потому что пошел — не остался. Он — как кусок жизни. Много прошел, никогда столько не ходил. Сколько чего видел — не пересказать, сколько чего познал — словами не передать.

Здесь для меня что-то изменилось, и не то что стало другим, а как-то я сам себя здесь не так как раньше теперь ощущал. Стал искать чего раньше не хватало, за чем, казалось, и пошел, и — не нашел, но не потому что этого нового не было, а потому как все настолько сильно наполняло меня, и так все переменялось, что увидеть и выделить хоть что-то бы невозможно. Я был полон, насыщен, и без прошлых изъянов. Я улынулся — это было так важно.

В доме кто-то был. Я никого не встретил, но ощущал его присутствие во всем окружающем. Этот мой друг — в нем я не сомневался — еще не пришел, он был еще в пути, но уже чувствовался здесь, все для него было готово, и я ждал его появления в своей жизни. Слишком долгим было одиночество. Я воссоздал и восполнил себя, был свободен, но по-прежнему одинок, и не кому было сказать все о чем я думаю, и я помнил о нем, он был мне нужен, я представлял его себе и ощущал его рядом.

Я сел за стол, достал бумагу, взял ручку и подумал о том, что если когда этот друг появится в моей уже более полной жизни, мне будет что сказать ему, или дать прочесть.

